

Евгения
Кайдалова

Ребенок

Самая
искренняя
и
жизненная
книга

О любви



Евгения Кайдалова

Ребенок

«Автор»

2010

Кайдалова Е. В.

Ребенок / Е. В. Кайдалова — «Автор», 2010

Инна не сомневалась: жизнь щедро дарит ей все, о чем она только мечтала. Провинциалка, она удачно устроилась в столице, случайный знакомый вскоре стал любимым и единственным. Друзья, развлечения, путешествия... Будущее безоблачно? Нет – Инна беременна, и это перечеркивает все ее надежды. Работа будет потеряна. Любимый оставит ее наедине с ее проблемами. Жизнь повернется к ней совсем другой стороной: ледяной, жесткой, бездушной. Казалось бы: стоит избавиться от ребенка – и ты вернешь себе потерянный рай. Но Инна принимает другое решение. Однако только в сказках добро торжествует. В жизни все далеко не так просто...

Содержание

Пролог	5
I	8
II	14
III	28
IV	39
V	42
VI	50
VII	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Евгения Кайдалова

Ребенок

Пролог

Он закричал. Должно быть, он кричал уже несколько минут, но я только сейчас начала его слышать. Я уже проваливалась в сон, уже не чувствовала своей больной, чугунно-тяжелой, звенящей головы и радостно неслась в бездонную черную пропасть, но он успел схватить меня за грудки и выволочь наружу. Он не мог потерпеть, чтобы я хоть на секунду провалилась в бесчувствие, и, захлебываясь от возмущения, звал меня помучиться вместе с ним.

Я лежала, не открывая глаз и не поднимая головы. Я чисто физически не могла ее оторвать от серого матраса. Голова была неподъемным пушечным ядром, которое намертво приковало меня к постели, и если бы даже я заставила себя сползти с кровати, то стащить вслед за собой еще и голову я бы уже не смогла. А он кричал и все дальше и дальше оттаскивал меня от сладко дышащего сном черного колодца.

Я пошевелила одной ногой и спустила ее на пол. Потом мне ничего не оставалось делать, как спустить вторую. Потом я начала, помогая себе локтями, подтаскивать за собой все остальное тело, и голова мало-помалу стронулась с места.

Он кричал уже так пронзительно, что ненависть помогла мне вскинуть голову на плечи. Теперь я прекрасно понимала, как чувствуют себя люди, потерявшие сознание от пыток, когда их обливают водой, чтобы привести в себя. Но мой кошмар был хуже, чем все подвалы гестапо: я не могла выдать резидента, указать явки и назвать пароли, чтобы меня перестали терзать; я могла только накормить своего мучителя. Заткнуть ему рот едой – тогда меня перестанут рвать на куски. Но у меня не было молока.

Ребенку было всего четыре дня от роду, и все эти дни его морили голодом. Да, получалось так, что он голодал всю свою недолгую жизнь. Однако он все еще надеялся на спасение: стоило взять его на руки, как он жадно присасывался к моей груди, делал несколько глотательных движений и затихал, закрывая глаза. Я клала его на кровать, но он сразу же вновь начинал подергивать головой, потом вертел ею, открывая губы в поисках соска, а потом из него начинал вырываться этот невыносимый крик.

И с каждым новым воплем я с ужасом понимала: вот теперь – все! Сейчас моя голова наконец-то взорвется, как начиненная болью бомба. Будь эта голова хоть немного трезвее, я бы давно подумала о самом простом выходе из ловушки – об искусственном питании. Но беда была в том, что думать-то я как раз и не могла! Голова звенела, вибрировала, ныла. По левой части затылка постоянно пробегали пугающие мурашки, словно мозг, не освеженный сном, рос, как на дрожжах, и искал выхода наружу. А вокруг не было никого старшего, разумного, знающего, никого вообще, кто мог бы спасти меня от этого детского крика. И никого, кто спас бы ребенка от меня.

Наконец у меня получилось выпрямиться и сесть на кровати. Но как только я это сделала, снизу полыхнуло огнем – загорелись от боли швы, наложенные в роддоме. Врачи были крайне предупредительны ко мне: они предупредили, что мне нельзя садиться две недели, и вышли из палаты. Наверное, они считали, что, родив ребенка, я сразу начну парить в невесомости, что безбрежная радость материнства поднимет меня над землей. Я начала мелко трястись в истерике; смех и плач сшибались, как грозовые тучи, а голова не переставая звенела, как провода под смертоносно высоким напряжением.

Я не спала три ночи подряд. Днем ребенок кричал от голода каждые полчаса, а начиная с полуночи я не могла отнять его от груди ни на секунду. Сначала я сидела на кровати, пока

засыпающая голова не кренила меня вперед, потом я ложилась, но не могла себе позволить задремать: сон валил меня на спину, и ребенок терял сосок. Ближе к шести утра ребенок сам оставлял грудь, совершенно обессилив, а в восемь он снова кричал, заходясь отчаянием. К тому времени я уже поняла, что в его беде виновата я: не могу накормить его, заставляю его страдать, я его злейший враг с первых минут рождения. И сейчас он мстил мне. Мстил из всех сил.

В комнате уже не осталось места ничему, кроме крика. Это был беспощадный крик. Обвиняющий крик. Этот крик припирали меня к стенке. Я ничего не могла сделать для этого ребенка, а он все пытался и пытался чего-то от меня добиться. Он не давал мне отключиться от действительности. Он пытался расплющить мне голову, сдавив ее криком. Он обступил меня этим криком со всех сторон, не давая бежать, словно я была преступником, а он – всесильным стражем порядка.

И на секунду среди бесконечного гудения и звона в голове возникла картина, столь знакомая мне по множеству американских боевиков: окровавленный и оскаленный некто в черной кожанке с пистолетом отчаянно кружит на месте, дергаясь то туда, то сюда, но вокруг него сомкнулось плотное кольцо из полицейских мигалок и сирен. Однако прорваться надо любой ценой – ведь речь идет о его жизни. Сейчас этот некто соберет последние силы, стиснет зубы и разрядит свой пистолет в ближайшего полицейского, а затем ринется в образовавшуюся брешь.

Я поняла, что я должна сделать, и неожиданно легко встала на ноги. Я шагнула к кровати, где лежал он, скрученный пеленками и способный только мучительно вертеть головой и подергивать разинутым ртом в поисках груди с молоком. И в отчаянии кричать, что он не хочет умирать от голода.

Я стояла, опираясь о спинку кровати, и это была уже не я. От меня осталась одна начиненная болью голова, она кренилась то вправо, то влево, и я была не способна даже прямо удержать ее на плечах, не то что заставить думать. Я была задыхающимся астматиком, который в состоянии лишь тянуться к аэрозолю с лекарством; в этот момент в нем отсутствует все человеческое, его заполняет животная жажда жизни. Я пойму, что сделала, потом, когда снова стану *Homo sapiens*. Но сейчас я приму свое лекарство – тишину.

Никогда раньше я не убивала детей и была в этом смысле совершенно неопытна – ведь это был мой первый ребенок. Я не представляла, как именно это сделаю, но зачем-то начала разворачивать его. Беспомощный лиловато-розовый червяк с нелепыми, без конца подергивающимися отростками рук и ног был еще отвратительнее, чем просто орущий рот, рвущийся из пеленок. Теперь его тельце еще и поменяло цвет от холода, а голова была так же бессильно откинута назад, как у меня, когда я сползала с кровати. В этом существе тоже не было ничего человеческого, одно желание жить.

На секунду я пришла в себя, но не для того, чтобы передумать. Теперь на новом, сознательном уровне мне виделось, что уничтожить это существо будет и правильно, и мудро, и ничуть не жестоко. Я могла это сделать много месяцев назад, когда ему было всего двенадцать недель, считая с момента зачатия, – и закон был бы целиком на моей стороне. Я могла это сделать и позже, договорившись с врачом, – закон закрыл бы на это глаза. Но я дала ему пожить в себе целых девять месяцев, а теперь я просто говорю ему: «Хватит!»

И самое смешное, что и теперь закон ничего не сможет сказать в ответ. Этого ребенка не существует – он нигде не зарегистрирован. На него, наверное, завели какие-то бумаги в роддоме, но роддом – не КГБ, чтобы следить за теми, кто выходит живым из его застенков. А сама я тоже не существую в этом городе – прописана я не здесь. О том, что несуществующая мать с несуществующим ребенком на руках стоит сейчас в этой комнате, к которой она не имеет ни малейшего отношения, не знает ни один слуга закона. Более того, об этом вообще никто не знает: среди соседей знакомых у меня нет. Я убью ребенка, а потом спокойно выйду из комнаты и уеду к себе в город. Домой. К маме.

Но он кричал. Крик уже скорее походил на озвученный хрип, и пора было вырываться из этого кошмара. Я надеялась, что вырваться будет просто: словно ты выключил телевизор в разгар фильма ужасов – и больше нет вокруг тебя ни вампиров, ни крови, ни оторванных голов, ни крика...

Стараясь не смотреть на собственные руки, я подняла его повыше и развела руки...

I

Я родилась в Пятигорске. В нашем городе убили Лермонтова. Думаю, что он не хотел умирать, но подсознательно был не прочь навсегда остаться в этом прекраснейшем месте у подножия Машука, где днем так много света и зелени, что не нужно венков и вечного огня, а вечером тени ложатся так торжественно, что не уступят в своем величии ни одному мавзолею. Сухой и редкий южный лес стойко держится на сыпучих склонах горы, как почетный караул, и никогда не просит никого себе на смену.

Я никогда не встречалась с Лермонтовым и, наверное, никогда не встречу (трудно поверить, что даже на том свете простой смертный встанет рядом с Поэтом), но всегда считала нас с ним созданными друг для друга. Лермонтов сотворил любимые мной миры, а я вступала в них с замиранием сердца и в каждом оставалась навсегда. Я была Тамарой под поцелуями Демона, но находила в себе силы не умереть, а ответить на его любовь и ринуться вслед за ним в поднебесное изгнание. Я была черкешенкой, скользящей по тропе к ручью на глазах у Мцыри, но я-то успевала заметить беглого послушника, очаровать его одним взглядом и увести к себе в саклю от ночной схватки с леопардом. Особенно приятно было представлять, как я открываю для Мцыри незнакомый для него доселе мир и, как ребенку, помогаю в нем сделать первые шаги. Одним из самых сладких образов была для меня Бэла. Обычно я смаковала в мыслях те минуты, когда Азамат крадет меня из отцовского дома и я, не в силах сопротивляться, лечу к тому, кто покорит меня и станет моей любовью.

(Кстати, образ горянки Бэлы замечательно подходил мне внешне: у меня была худощавая «мальчишковая» фигура и романтически длинные темные волосы, которые должны были красиво развеиваться при скачке на коне. Свое лицо я считала гордым и тонким и прямо созданным для иллюстраций к первой части «Героя нашего времени».)

Меня роднило с Лермонтовым и то, что оба мы выросли в разбитых семьях, а воспитали нас одинокие женщины и книги. Правда, я никогда не считала свою семью увечной, наоборот, благодаря книгам она была на удивление большой, а при том, что мама работала библиотекарем и я всегда забегала к ней на работу после школы, можно сказать, что мы были неразлучной семьей.

Мы были и любящей семьей – мама обожала свою работу, а я обожала читать. Библиотека казалась мне самым фантастическим местом на свете: в небольшом зале собраны тысячи вселенных, в каждой из которых ты – желанный гость. (Вселенными я считала книги, потому что книги были бесконечны: дошел до последней страницы – и вновь открывай любую на выбор и наслаждайся странствием по ровным черным строкам.)

Если верить биографиям, Лермонтов рос одиноким ребенком, я же в любом возрасте мгновенно обрастала друзьями; в этом, пожалуй, было единственное различие между мной и Поэтом. Друзья заводились как-то сами собой: я просто начинала играть со сверстниками в прочитанные истории – книги настолько переполняли меня, что если бы я не могла с кем-то поделиться их содержанием, то, наверное, просто умерла бы от какого-то фантазийного удара или излияния фантазий в кору головного мозга. В детсадовские годы я еще не успела достаточно начитаться, но те, кому «посчастливилось» быть моими одноклассниками, уже не могли спокойно дойти до дома, отсидев уроки, а шли в горы охотиться на пещерного кабана. В третьем классе они так же покорно собирались на затерянном среди гаражей пятячке под голубятней и, орошаемые пометом, торжественно приносили нерушимую клятву верности не помню чему. В пятом – строили вигвам на опушке леса и залезали под укрытие веток, пьянея от чувства того, что все мы – одна банда. В седьмом – писали песни, которые мог бы спеть слепой космический бард из рассказа Роберта Хайнлайна. К девятому классу я перестала играть.

В то время меня покорила светлый образ древнегреческой гетеры, созданный Иваном Ефремовым. Несколько месяцев я прямо-таки жила в роли Таис Афинской: ходила по школе с отрешенной, мудрой улыбкой, как посвященная в учение орфиков, всю занималась танцами, чтобы не оплошать на пиру во дворце, и досадливо вглядывалась в бывших товарищей по шалашу, не узнавая среди них ни одного македонского полководца. Мальчишки по старой привычке продолжали ко мне тянуться, но я не понимала, чего они от меня ждут. Интерес к себе? Но кому, кроме ученых, интересны гусеницы, не прошедшие перевоплощения в бабочку и не блистающие всеми достоинствами своей более поздней ипостаси? Становиться нежной, неотразимой, преданной и желанной я была готова только ради мужчин.

Я никогда не встречалась с отцом (мои родители развелись задолго до того, как я научилась читать), однако мужчин хорошо знала по книгам: они были волевыми, мудрыми, стойкими, смело брали женщин за руку и вели их по жизни. Мужчины не знали сомнений, выбирая правильный путь. Они захватывали, побеждали, подчиняли, и я сочла бы за счастье оказаться в числе пленниц такого завоевателя. Наверное, мальчишки не решались брать кого-то в плен на всю оставшуюся жизнь, потому что вскоре они привыкли обходить меня стороной.

Однажды в сентябре (я перешла уже в десятый класс) я зашла к маме на работу, чтобы почитать свежий номер «Студенческого меридиана». Пару лет назад мама сама подкинула мне этот журнал, ненавязчиво намекая на то, что придет пора и мне вливаться в ряды студенчества. И к выпускному классу я уже, не ведая сомнений, текла в заданном русле. Разумеется, я должна поступить в вуз и стать специалистом. А для чего еще созданы женщины? Бывают, конечно, опустившиеся неудачницы, которые оставили мысль об образовании и работе и вернулись к первобытно-общинным ценностям: к загаженным ползункам и сбежавшему супу. Мама и сама могла бы до этого опуститься, если бы много лет назад начала цепляться за моего папу и выполнять бесконечные наказания свекрови, которая словно задалась целью намертво замуровать живую женщину в борще и детских соплих. Но мама выстояла, развелась, отдала дочку в садик и осталась пусть и небольшим, но профессионалом, а значит – Человеком. А перед дочерью лежал еще более светлый путь – высшее образование, которое, возможно, уведет меня из провинции.

Я вошла в читальный зал и привычно направилась к мамину столу. Мама была занята: она заполняла читательскую карточку на нового, стоявшего ко мне спиной посетителя.

– Корнилов Илья Семенович, – повторяла мама вслух, прилежно водя ручкой по бумаге.

– Так точно! – отвечал читатель.

В голосе у него, разумеется, была улыбка, но меня почему-то заворожило то, что он однопамилец знаменитого казачьего генерала. В те первые перестроечные годы Белая армия выступала для моих ровесников в том же романтическом ореоле, что Красная – для старшего поколения. «Господа офицеры, голубые князья...», «Не падайте духом, поручик Голицын...» Мы пели о них, побежденных большевистскими варварами, до искренней дрожи в голосе.

– Вам что-нибудь показать или сами разберетесь? – спросила мама, завершив необходимые формальности.

– Спасибо, я сам.

Корнилов повернулся к книжным стеллажам, и вдруг я увидела Мужчину. Я была в таком замешательстве, что даже приличия ради не могла отвести от него глаз.

При этом Корнилов не был похож ни на одно из классических воплощений мужественности: не Рэмбо, не Профессионал-Бельмондо, не даже Высоцкий в роли Дона Гуана. Илья Семеновичу было слегка за сорок, он был отнюдь не атлетического, а просто плотного телосложения, а фигура его казалась чуть обмякшей под тяжестью лет. Он был одет в самую обыкновенную белую рубашку с темными брюками и имел те самые обыкновенно-приятные черты лица, которые представляют собой идеальную внешность для шпиона. У него были пепельные волосы с красивыми вкраплениями седины. Я смотрела, как он засовывает в нагрудный карман новень-

кий читательский билет, и у меня складывалось впечатление, что я никогда не видела более мужественного жеста. Спокойствие, сила, достоинство и полная уверенность в себе читались в его лице настолько ясно, словно легкие морщины на лбу складывались в письмена.

Корнилов заметил, что я беспардонно его разглядываю, и улыбнулся без тени смущения или раздражения:

– Я здесь первый раз, а вы, наверное, завсегдатай?

Я была поражена, как красиво он вышел из положения, молча кивнула и подбежала к маминому столу. Мама достала из ящика «Студенческий меридиан», протянула мне и тихо сказала, кивая в сторону Корнилова:

– Вот человек! Командированный, из Москвы, всего на три дня к нам, а уже в библиотеку записался. Другой бы водку вечерами глушил или по бабам шастал, а он... Интеллигент, он везде интеллигент.

Пока я сидела, листая журнал, успела заметить, что Корнилов весьма общителен: он уже завел разговор с соседями по столу и обсуждал с ними книжные новинки. Я заранее была готова к тому, что Мужчина проявит ум и красноречие, и эта уверенность только крепла к каждой долетавшей до меня репликой: «Знаете, сейчас модно очернять прошлое, но на этом можно заработать лишь дешевую популярность...», «Я считаю, что выше „Одного дня Ивана Денисовича“ Солженицын так и не поднялся...», «Когда народ отрекается от своей истории, он отрекается от самого себя...» Собеседники спорили, распалялись, с энтузиазмом поддерживали, негодовали, один Корнилов ни на секунду не расставался с уверенной улыбкой и был незыблем в центре дискуссии, как утес, вокруг которого гуляют волны. Примерно через час он как-то плавно свернул разговор, встал и подошел к маминому столу:

– Извините, вы не подскажете, где я могу найти...

Я встала, стискивая в руке журнал, и, не веря своим ногам, двинулась в том же направлении. Мама уже отвечала на вопрос Ильи Семеновича:

– Фантастика? Ищите по фамилиям – у нас алфавитный каталог.

Илья Семенович рассмеялся:

– Помнить бы еще фамилии!

– Азимов стоит вон там, – сказала я, не веря теперь уже и собственным губам, – чуть ниже – Брэбери и Булычев, потом – Воннегут, дальше – Гансовский и Ле Гуин, а на том стеллаже...

– Ого! – восхитился Илья Семенович. – Да вы, девушка, из «Клуба знатоков»!

– Это моя дочка, она все здесь знает! – произнесла мама на удивление густым и сладким голосом, словно на губах у нее были не слова, а мед.

«Дочка? Да что вы! Как же ее зовут? Инна? Очень приятно! Инна, вы меня отведете на экскурсию по фантастам? Вы учитесь или работаете?..» Неужели мне удалось завязать и на равных поддерживать разговор с Мужчиной? Надо сказать, что Илья Семенович помогал мне в этом, как опытный альпинист, идущий в связке с новичком; и скоро я уже отважно, почти без страховки карабкалась в гору, на вершине которой стоит извечный интерес мужчины и женщины друг к другу.

В ходе разговора Илья Семенович признался, что еще не был на месте дуэли Лермонтова, потому что не знает, как туда идти. Я предложила в экскурсоводы себя, и у меня тут же закружилась голова от взятой высоты. Но Илья Семенович не дал мне рухнуть в смущение: он тотчас поддержал меня, сказав, что будет счастлив иметь такого проводника. А потом мы дружно отправились испросить на паломничество матушкиного благословения.

К Лермонтову мы пришли на следующий день к вечеру. Дорогой я показывала Илье Семеновичу старинные особняки под ветвями плодовых деревьев, изящные и нарядные, точно дамы в Дворянском собрании. Мы видели прохладные беседки, внутри которых были краны с лечебными водами, и шутки ради пили нарзан. Мы любовались величественными горами,

которые сошлись со всех сторон оградить наш хрупкий город. Я как будто попала в него впервые и впервые заметила, как он красив. Я словно впервые познакомилась с самой собой, и познакомил меня Илья Семенович.

Всю дорогу Илья Семенович задавал вопросы, но не «дежурные» и пустые, чем так часто грешат взрослые. Он не спрашивал меня, какой у меня любимый предмет в школе и кем я собираюсь стать. Вместо этого он спросил, чем я увлекаюсь. Я рассказала ему про книги.

– А кто твой любимый автор?

Илья Семенович в одностороннем порядке перешел со мной на ты.

– Из поэтов – Киплинг и Гумилев, из прозаиков – Иван Ефремов и братья Стругацкие.

Илья Семенович улыбнулся:

– Да, для твоего возраста это классический выбор. Сколько тебе, кстати, лет?

– Шестнадцать.

– Тяжелый возраст, правда?

– Почему тяжелый?

– Потому что быть ребенком уже не хочешь, а быть взрослым еще не можешь.

Я фыркнула:

– Я уже давно взрослый человек!

Илья Семенович сумел не улыбнуться, его губы просто сжались и немного дернулись.

– В твоём возрасте обычно нелегко на личном фронте.

Я фыркнула еще сильнее:

– Это если бегать за мальчиками или ждать, что они к тебе прибегут.

– А ты не бегаешь и не ждешь?

– Нет, конечно!

– Почему?

Илья Семенович казался искренне заинтересованным.

– Да они все какие-то... не такие.

– А какие для тебя будут такие?

– Ну... Вот вы «Унесенных ветром» читали? Помните Ретта Батлера? Вот такие! Или как Петроний в «Камо Грядеши».

– Да ни много ни мало... А скажи, пожалуйста, ты помнишь, каких женщин любили Ретт и Петроний?

Я, конечно, вспомнила Скарлетт – эту комету из энергии и обаяния, за которой летел целый хвост поклонников. Вспомнила и рабыню Эвнику – саму воплощенную красоту.

– Как ты думаешь, ты похожа на этих женщин?

– Да нет...

– Значит, Ретт и Петроний в тебя бы не влюбились.

– Ну и пожалуйста!

Илья Семенович расхохотался.

– Видишь, какой ты еще ребенок! Взрослый человек на твоём месте промолчал бы, а потом сменил тему разговора.

Мы тем временем дошли до обелиска. Немного постояли. Илья Семенович сказал несколько слов о том, что великий поэт погиб, как это ни трагично, из-за собственного ребячества. Написал злую, хотя и талантливо-едкую эпиграмму на офицера, который ему ничего плохого не сделал. А офицер взял да и вызвал поэта на дуэль. И убил, как это ни горько, с полным моральным на то правом – отстаивая свою честь.

– Это я говорю к тому, – пояснил Илья Семенович, – что сидящий в человеке ребенок может очень легко сломать ему жизнь.

– И что же надо делать с этим ребенком? – теперь засмеялась я. – Убивать его, что ли?

– Зачем же убивать? Стать выше его и не дать ему довести себя черт знает до чего.

Стемнело так, что стали видны светлячки. Илья Семенович, видимо, не хотел заканчивать этот вечер: он пригласил меня поужинать в маленьком ресторанчике с домашней кухней. Там было действительно по-семейному уютно: грузная мамаша, напоминавшая Калягина в роли Донны Розы, возилась на кухне, ее стройная дочка подавала на стол, а распорядителем и кассиром был уса́тый отец. Мы сели на веранде, которую скрывала от улицы густая стена дикого винограда. Ползущие по деревянной решетке лозы переплетались с лампочками от новогодней гирлянды.

Илья Семенович сам налил мне из бутылки прохладного грузинского вина. Мной вдруг завладело удивительно сладкое, но спокойное и теплое чувство, словно я сидела за одним столом одновременно и с отцом, и с любовником. Илья Семенович, видимо, тоже испытывал двойственные ощущения, но держался он предельно корректно, ни на миг не переступив той грани, которую я в мыслях давно позволила ему перейти.

Мы подняли бокалы, и я опустила глаза.

– Давай выпьем за тебя, Инна, – мягко сказал Илья Семенович, прикоснувшись своим бокалом к моему. – За твое будущее!

Я волновалась и, сама того не желая, выпила до дна. От хмеля ноги тут же стали беспомощными.

– А вы уже знаете, какое у меня будет будущее? – спросила я с той классической развязностью, что всегда выплывает наружу, стоит вину размыть самоконтроль.

– Я могу только догадываться.

– И до чего же вы догадались?

Я поставила локти на стол, оперлась подбородком о переплетенные пальцы и посмотрела Мужчине прямо в глаза. Илья Семенович лишь улыбнулся и опять не перешел уже явно открытую для него границу.

– Я думаю, – произнес он медленно, видимо, действительно раздумывая над моей судьбой, – что ты могла бы преуспеть во многих областях. Ты живая, общительная, легко завязываешь знакомства...

– А я красивая?

– Красивая, красивая. Так вот: ты начитанна, умеешь вести разговор, не тушуешься, язык у тебя хороший в том смысле, что косноязычия нет. Такие качества во многих профессиях ценятся. Тем более что сейчас – время перемен, можно пробовать себя в каких угодно областях... Что у тебя в школе по литературе?

– Пятерка, конечно.

– А по иностранному языку?

– Тоже. И по истории – пять.

– А по естественным наукам? Ну, по математике, физике, химии...

– Тройки.

– Все понятно, ты, как и большинство девушек, гуманитарий. И мне кажется, что с твоим характером тебе подойдет журналистика. Ты никогда не пробовала что-то писать в газету?

Я покачала головой.

– А просто так, для себя?

– Тоже нет.

– Ну может быть, еще напишешь, в молодости все берутся за перо.

Илья Семенович пригубил вино. Воротник его рубашки был свободно расстегнут, волосы слегка разлохмачены ветром, глаза живо блеснули. Я смотрела на него так неотрывно, что мне самой становилось стыдно, но оторваться не могла – я впервые увидела человека, в котором сливались «свой парень» и «мудрый учитель», «заботливый отец» и «мужчина моей мечты». И кроме того, после суток знакомства он уже казался мне таким красивым!

– Ты уже решила, куда будешь поступать?

– Нет. Но я хочу учиться где-нибудь в другом городе.

– В столице, конечно?

Я засмеялась:

– Конечно!

– «В Москву, в Москву, в Москву!»

Илья Семенович как-то грустно повел уголком рта. Он перевел глаза на ночную бабочку, что билась о лампу на потолке, и усмехнулся. Затем его глаза вернулись ко мне.

– Ну, не буду тебя сразу разочаровывать – вдруг тебе повезет. Везет же кому-то, в конце концов... Если уж ты решила штурмовать столицу, то тебе дорога в МГУ на факультет журналистики: там, по-моему, нужно сдавать как раз те предметы, по которым у тебя пятерки. Хотя лучше уточнить...

Я вдохновенно кивала, не собираясь, конечно, ничего уточнять: раз Илья Семенович сказал, что я должна поступить в МГУ, сдав литературу, английский и историю, значит, так оно и будет, вне зависимости от мнения приемной комиссии.

Мы жадно съели сочные, горячие и нежные хачапури и почти допили вино. Не могу сказать, что голова у меня шла кругом, скорее она вихрем летела по орбите, будучи не в состоянии ни удалиться, ни приблизиться к сиявшему в центре Илье Семеновичу. Он продолжал что-то говорить, я кивала, согласная с каждым его словом, маленький ресторанчик постепенно наполнялся, и на эстраде появились музыканты: бас-гитарист, клавишник, ударник и очаровательный юноша с микрофоном, который светло улыбался присутствующим, но никак не мог сфокусировать взгляд. Эта компания исполняла старые западные хиты, до предела затасканные, но до предела милые, и Илья Семенович пригласил меня на первый же танец под медленную песню (это была то ли «Lady in Red», то ли «Woman in Love»). Когда он взял меня за обе руки и приблизил к себе, чтобы нам с ним двигаться в одном ритме, я почувствовала, что поднимаюсь на какую-то немыслимую для себя раньше высоту. Я внезапно встала на опаснейшую вершину острейшего горного пика и едва выдерживала адский восторг и божественную слабость, я знала всю красоту и радость раскинувшегося подо мной мира, но не видела ничего, потому что в глазах стояло одно солнце. Много позже, вспоминая этот момент, я поняла, что испытала настоящее полноценное счастье. Таких вдохновенных моментов полного вознесения к счастью у человека бывает лишь несколько за всю жизнь. Я была счастлива два раза.

Из ресторана Илья Семенович проводил меня до дома, куртуазно поцеловал мне руку и ушел из моей жизни. Все время, пока его белая рубашка одиноким парусом рассекала ночь, я внушала себе, что это и есть мое роковое «прощание навсегда», когда человек уходит, но остается в тебе навечно, словно Прометей – частицей своего огня.

II

Утром после выпускного вечера я уже садилась на московский поезд. Ровно через сутки я сошла с него на Курском вокзале, немного постояла и с легкой дрожью сжала ручку чемодана – моего единственного спутника и единственное родное существо в столице. Вечером того же дня я поставила чемодан на пол в комнате университетского общежития, куда вселилась уже в качестве абитуриентки.

Если бы меня в тот момент спросили, что я чувствую после целого дня скитаний в наземном и подземном царстве транспорта, после тормозящего сердцебиение момента подачи документов и идиотски долгих мотаний с бумажками в руках по кабинетам и корпусам разбросанного по всей Москве университета (с целью заселиться в общежитие), я бы ответила только одно: упасть прямо там, где стою, что будет дальше – не важно.

Если бы меня спросили, что я чувствую после того, как мне удалось самостоятельно добраться до столицы, покорить доселе не виданный метрополитен и успешно (!) подать документы для сдачи экзаменов на факультете журналистики, я бы тоже ответила только одно: выбежать на крышу общежития и до утра танцевать там рок-н-ролл.

Не выпуская ручки чемодана, я присела на кровать. Бесконечная усталость и бесконечный восторг сливались во мне как два могучих течения, и в какой-то момент я вдруг воочию увидела перед собой черную бездну – Мальстрем. Голова стремительно закружилась, словно меня действительно затягивало в пучину, но я даже не пыталась сопротивляться: я внезапно перестала чувствовать себя человеком, а была настолько же безвольна и покорна происходящему, как летящая в воронку щепка. Спустя какое-то время я почувствовала, что водоворот отпускает меня: в глазах светлело. Неуверенно приоткрыв их, я поняла, что просто наступило утро, ноги у меня все еще стоят на полу, тело криво притулилось на незастланном матрасе, а рука продолжает сжимать ручку чемодана. На соседней кровати (чистенькой и простынно-белой) уже спала соседка.

Было очень рано, около шести, – лучшее время суток. (Я это знала наверняка, поскольку была жаворонком и привыкла рано вставать на прогулку с собакой.) Мир в это время еще невинен и чист, словно новорожденный, только-только вынырнувший в жизнь из небытия. Взгляд рассветного мира безоблачен и светел от надежд, солнце еще не успело ничего раскалить, опалить или выжечь. На рассвете очень хочется любить, и никогда не верится, что рано или поздно все чувства доходят до полудня, а потом лишь доживают остаток дня.

Я поднялась, радуясь тому, что меня не удерживают постельный уют и необходимость одеваться, плеснула в лицо водой и вышла из комнаты. Мне было немного страшно вызывать лифт в полной тишине, ехать в нем в одиночестве и проходить пустой холл со спящим вахтером, но едва я вышла на улицу, я поняла: сегодняшнее утро создано для меня. Это утро должно зарядить меня радостью и высветить всю красоту лежащей впереди меня жизни, чтобы я не боялась дерзать и надеяться.

Я сбежала вниз по лестнице, обогнула статный, вытянувшийся во много этажей общежитский корпус и прямо у его подножия увидела пруды. Конечно, в них нельзя было купаться; конечно, их дно было устлано пивными крышками и они по самую поверхность заросли водорослями, но я, не чуя себя от радости, бродила по обрамлявшему их бетону и твердо знала, что с такой же уверенностью смогу идти по воде или заставлять стихию расступаться перед собой.

На улице я, как ни странно, была не одна. По другую сторону пруда на травянистой площадке стоял молодой человек в спортивных шортах. Точнее, он не стоял: он поминутно замирал в странных позах, то жестко скрещивая перед собой руки, то отрывисто рассекая ими воздух, ноги его были широко расставлены и спружинены. Последние тоже находились в отрывистом движении: парень как-то резко перескакивал с места на место и иногда выбрасывал

ногу вверх, разрубая воздух ступней. Обходя пруд по бетонному бортику, я неуклонно приближалась к месту действия этой странной пантомимы и наконец приблизилась настолько, что меня нельзя было не заметить. Я встала в классическую позу зеваки и восхищенно металась взглядом вслед за мелькавшими в воздухе руками и ногами.

Я, конечно, и раньше наблюдала чудеса человеческой ловкости и владения своим телом, но тут я впервые увидела, как из человека буквально бьют энергетические молнии и, на мгновение задержавшись, возвращаются снова к нему, как вся человеческая мощь и воля на миг концентрируются в кончиках жестко выпрямленных пальцев. Молодой человек двигался в основном рывками, но отнюдь не напоминал автомат, скорее он напоминал стихию, которая каждую секунду выплескивалась в новое жестко заданное русло. Это настолько завораживало, что я невольно попыталась повторить его движения: встала в ту же самую позу, расставив и спружинив ноги, и попыталась так же стремительно рассечь воздух перед собой ребром ладони.

– Вот-вот, чем смотреть, лучше присоединяйтесь! – бросил парень через плечо, не прерывая упражнений. – В Китае заниматься ушу выходит по утрам на улицу весь город.

Я осмелела и обрадовалась.

– А вы не могли бы показать мне движения помедленнее?

Парень сначала нахмурился, но, чуть пораздумав, кивнул, милостиво соглашаясь на роль учителя. Он велел мне встать рядом с ним, развернувшись в той же самой плоскости, и стал медленно водить перед собой руками. Повторять его движения было нетрудно, но мои собственные казались мне донельзя вялыми по сравнению с его отточенным, стальным маневрированием.

– У меня что-то не так получается, – призналась я, чувствуя себя как девочка, влезшая в мамины туфли на каблуках и ковыляющая в них, держась за стенку.

– Ты не вкладываешь в движение всю себя, – все так же не оборачиваясь, прокомментировал парень, – представь себе, что ты – это твоя рука. А теперь – лети в пространство! Вот, уже лучше! Но ты все равно не концентрируешь в руке энергию, не чувствуешь связи с астралом.

– С чем?

– Ну, со своим астральным телом. Ты слишком на земле. Найди на своем теле точку инь – на два пальца ниже пупка – и почувствуй, как в этой точке собираются все идущие по твоему телу энергетические потоки. Теперь пошли эти потоки в свою руку. А теперь выплесни эту энергию!

И его рука, словно спущенная стрела, ударила в невидимую воздушную цель. Я захлопала в ладоши, словно он попал прямо в яблочко на мишени. Парень опять недовольно нахмурился:

– Я показываю не затем, чтобы ты хлопала, а затем, чтобы правильно повторяла. Ладно, давай что-нибудь попроще: научимся сначала переносить вес тела с одной ноги на другую. Так... И все время упруго надо стоять, понимаешь? Твои ноги должны амортизировать, как рессоры, а не быть деревянными подставками.

Я старалась прилежно выполнять его наставления, но мне мешало сосредоточиться кружащая меня, как смерч, радость: ведь я, только двое суток назад еще жившая в провинциальном городе, по сути дела, попала на другую планету и сумела не только разбить на ней лагерь, но и завязать первый контакт с ее обитателями.

– Давай еще раз! – велел мой учитель. – Встали, ноги упругие, руки – прямо перед собой...

– Антон! – сказали откуда-то со стороны общежития. Не позвали, а именно сказали, и не то чтобы громко, но очень уверенно. Голос, разумеется, был женским. Обернувшись, я даже увидела в раскрытом окне одного из нижних этажей неразлично далекое лицо.

Обитатель планеты тоже обернулся и помахал рукой в знак того, что он слышал и идет. Затем он плавно развернулся на сто восемьдесят градусов – ко мне.

– Ну, пока!

- Счастливо!
- У тебя хорошо получается, тренируйся побольше.
- Я постараюсь.

Он улыбнулся, и вдруг мне стало больно: сейчас он уйдет, а у меня ведь больше нет никого в Москве, кроме него и чемодана. К тому же теперь я не могла простить себе, что во время нашей тренировки смотрела на его руки, ноги, корпус, но только не на него самого: на редкость обаятельный парень!

Я провожала его глазами до самого общежития, а когда он окончательно исчез из виду, поняла, что и мне на улице делать больше нечего.

* * *

До экзаменов оставалось всего несколько дней, сквозь которые я постаралась промчаться как можно скорее. В эти дни я, правда, ходила на консультации, в сотый раз узнавала, что спрашивать будут только в пределах школьной программы (интересно, кто и когда эту программу видел?), что в сочинениях нужно избегать двусмысленностей (типа: «Наташе Ростовой пора было замуж, поэтому ей подарили петуха...») и что одеваться на экзамен нужно так, чтобы в одежде чувствовалось уважение к преподавателю (это был самый загадочный совет, который мне довелось услышать).

Приходя на каждую консультацию, я занимала свое место с твердой уверенностью, что пришла напрасно: знаний мне это не прибавит, моя судьба и так уже решена свыше, и там, наверху, мне, разумеется, пошли навстречу. Это я знала наверняка, потому что в роли божественного вестника (иными словами – ангела), объявившего небесную волю, мне виделся Илья Семенович. «Аве, Инна, поступай на журфак!» Разумеется, я поступлю. Иногда мне, правда, становилось не по себе: я слышала перешептывания соседей о том, как их гоняли репетиторы, какие горы учебной литературы они срыли на своем пути и сколько у них уже имеется публикаций. Но потом я убеждала себя, что все сомнения – от лукавого, а мое поступление будет истинным триумфом над страхами и предрассудками. Девочка из провинции, без единого знакомства в приемной комиссии, не взявшая ни единого урока у репетиторов, очень далекая от золотой и даже серебряной медали, ни строчки не написавшая в газету, с ходу возьмет такую высоту, как лучший университет страны. Я уподоблюсь бегуну-любителю, который всю жизнь трусил по парку возле дома, а потом вдруг записался в олимпийскую сборную да и получил на Играх золотую медаль. Такое случается только чудом, но я и жду от жизни именно чудес; мне их предсказал Илья Семенович, не мог же Мужчина ошибиться, выводя меня на главную в моей жизни дорогу!

После консультаций я возвращалась в общежитие под лаконичным названием из трех букв: «ДСВ». По версии общежитских аборигенов оно означало «Дом на Семи Ветрах» или «Дом Сексуальной Взаимопомощи»; официальную расшифровку этой аббревиатуры: «Дом Студента на Вернадского» я узнала в последнюю очередь. Но для меня ДСВ с первого же дня знакомства стал Домом Светопреставления: это был дом катаклизмов в полном смысле слова. Кабины лифтов с тяжелым грохотом обрушивались на первый этаж, высыпали несметное количество людей и втягивали все новые и новые партии. Два встречных людских потока – с улицы и на улицу – сшибались возле вахты, как волны возле мыса Горн, и было просто нереально хоть как-то упорядочить эту стихию. Людей всегда казалось больше, чем их есть, из-за того, что они были молодыми, шумными, и энергии в каждом хватило бы на пятерых изъезженных жизнью. Эта энергия буквально распирала Дом Светопреставления: вечерами его трясло от музыки и ритмичных телодвижений, неизменно бодрые голоса вылетали из комнат, как птицы из клеток, и мне было радостно и удивительно, каждый раз выходя в коридор, видеть у каждого встречного огонь в глазах. Такую россыпь огней не встретишь ни в одном другом доме, кроме

общежития – дома студента, – где пламя раздувает ветер в карманах и ветер в голове. Встречаясь с соседями по своему родному дому в Пятигорске, я неизменно видела у них в глазах черное костровище или, в лучшем случае, подернутые пеплом угли и неосознанно становилась серьезнее и грустнее. А здесь каждый пойманный взгляд осыпал меня новыми искрами, от которых надежды разгорались все ярче и радость жизни становилась поистине неугасимой.

Обитатели Дома Светопреставления перестали быть для меня инопланетянами, а стали просто братьями-скалолазами, бок о бок со мной штурмующими высоты МГУ. Конкурентов я в них не видела. Когда мы вместе с соседкой и еще несколькими новыми знакомыми шли сдавать первый экзамен, мне вдруг захотелось, чтобы сейчас мы дружно взяли за руки и с гиканьем помчались в бой за место под солнцем. Мы летели бы так, забыв обо всем на свете, подхваченные волной восторга, пока не уткнулись бы в списки принятых на журфак и не увидели бы в них все свои фамилии. Вот тогда можно было бы передохнуть, со слезами обняться и постоять немного в счастливом молчании...

– Абитуриенты, рассаживайтесь, пожалуйста!

Я повернула голову, не понимая, к кому это обращаются. Ах да, к нам. Мы же еще не поступили, только пришли на первый экзамен – сочинение – и рассаживаемся в огромной, высотой от первого до второго этажа, поточной аудитории. Мы впятером сели в один ряд, как и шли; я оказалась посередине. Нам раздали странные, неудобные листы плотной глянцевой бумаги, четыре – для черновика, четыре – для белой работы, и предупредили о том, чтобы в конце мы оставили себе достаточно времени для переписывания – работать предстояло четыре часа. Двое ребят из нашей компании достали и со всеми поделились заранее припасенным шоколадом (подкрепляться на экзамене не возбранялось, и шоколад был у многих – тех, кто надеялся возбудить уставший мозг углеводами, а душу – гормоном счастья эндорфином). Еще нас, как детей, предупредили о том, что списывать категорически запрещается, и настал тот восхитительно-страшный миг, когда один из преподавателей вскрыл конверт с темами сочинений и начал писать их на доске. Я жадно вглядывалась в каждую появляющуюся букву. Так... «Основные темы лирики Пушкина». Но, простите, это же просто бред! Как можно глубочайший пласт лирических откровений взять и расслоить на какие-то основные темы? Попытка это сделать будет не менее смехотворной, чем попытка провести четкие границы между слоями атмосферы, без каждого из которых немислим единый голубой купол. «Я вас любил...» – это философская лирика или любовная? А «Анчар» – историческая или гражданская? Или все-таки тоже философская? Ладно, Бог с ним, с этим маразмом, на доске уже появилась вторая тема... «“Маленький человек” в творчестве Достоевского». Час от часу не легче! Как же я ненавидела те уроки литературы, на которых мы обсуждали этих до мозга костей неполноценных «маленьких людей», которых буквально сровняли с землей все мыслимые и немыслимые психологические комплексы и жизненные обстоятельства! Как же мне хотелось раз и навсегда забыть обо всех этих униженных, оскорбленных, совращенных, умалишенных и презираемых, а хоть раз поговорить о сильных, стойких и мужественных, которыми изобилуют рассказы Джека Лондона, или о героях О'Генри – веселых несчастливцах, полных обаяния и не теряющих человеческого лица! Ну да ладно, на доске появилась спасительная третья тема... «Нравственные проблемы современной советской литературы». Господи! Да откуда они их взяли, эти нравственные проблемы, если самой советской литературы уже не существует?! Если перестройка переключила все привычные понятия и то, что мы привыкли называть литературой, оказалось просто ее коммунистическим суррогатом? Этакой вегетарианской котлетой с привычной формой, но слащаво-морковным содержанием вместо рубленого мяса жизни... И кто придумывает только такие дурацкие темы?! Пренебрежительно фыркнув, я повернулась к соседям, чтобы поделиться своим разочарованием, и увидела вокруг себя покорно склоненные над бумагой головы. И тут я испытала обжигающий, ледяной укол осознания: а выбирать-то все равно придется!

Несколько секунд я провела в состоянии, которое вполне можно было назвать трупным окоченением. Затем я взяла ручку скрюченными от внутреннего холода пальцами и тупо вывела на своем листке название первой темы. Только потому, что оно было первым.

До сих пор не могу понять, как я написала это сочинение. Я писала его без черновика, сразу – набело, почти без исправлений и, как ни странно, довольно твердым почерком (наверное, буквы тоже цепенели от страха). Я не продумывала план, цитаты вспоминала по ходу дела; в голове у меня была абсолютная пустота, и казалось, что мысли просто сыплются в нее сверху, как песчинки в песочных часах, а мне ничего не остается, как препровождать их на бумагу. Должно быть, страх стиснул меня настолько, что привел в состояние максимальной собранности и выдавил все мельчайшие капли знания из каких-то мне самой неведомых закоулков. Так или иначе, я писала, как автомат, без остановки, без раздумий, без блужданий глазами по потолку и покусывания ни в чем не повинной ручки.

Когда я исписала уже не менее двух листов, из ниоткуда рядом со мной вдруг раздался ледяной голос: «Встаньте, пожалуйста!» Я безропотно поднялась и вдруг почувствовала, что не могу стоять: ноги буквально плыли подо мной. Тут, наверное, сработал физический закон, согласно которому минус на минус дает плюс: ледяной голос, столкнувшийся с моим ледяным оцепенением, дал в результате лихорадочный жар. Ноги мгновенно отказались меня держать, а лицо горело так, что я почти ничего не видела. Я была просто не в состоянии повернуться к источнику голоса, тупо глядела перед собой и ничего не различала.

– А вы-то зачем встали? – сказал тот же голос, смягчаясь и из ледяного делаясь просто водяным.

Теперь я смогла повернуться. В проходе прямо напротив меня стояла преподавательница и явно чего-то ждала. Мой сосед, еще час назад угощавший меня углеводами и эндорфинами, тоже был на ногах, и лицо у него было пронзительно-красным. Он неловко собирал свои вещи и, собрав, стал протискиваться к выходу.

– Шпаргалку не забудьте! – громко напомнила экзаменаторша. Провинившийся тут же нагнулся, сложившись пополам, словно его ударили ногой в живот. Выйдя в проход, он секунду постоял, чуть пошатываясь, словно не мог обрести равновесия: в одной руке у него была ручка, шоколадка и недописанное сочинение, в другой – испещренный микроскопическими буквами рулончик бумаги. Затем, не дожидаясь новой команды за спиной, он быстро пошел вниз по широким ступеням. Экзаменаторша стала молча спускаться вслед за ним. Каблуки ее стучали так, словно заколачивали гвозди в крышку гроба.

Я опустилась на место, чувствуя себя как человек, рядом с которым разорвалась бомба, не задев его ни осколком. Теперь я была не просто скована страхом, а по-настоящему омертвела. Мне стало казаться, что правая рука ритмично движется по бумаге безо всякой связи с головой, просто потому, что ей ничего больше не остается делать. Словно обломку доски, попавшему в водоворот.

У меня были часы, но время я измеряла исписанными страницами. Их было уже пять, когда сидевшая справа моя соседка по комнате вдруг тоже поднялась и начала собирать свои бумаги, сразу полетевшие от нее на пол и на другой ряд. Она странно дергала не то смеющимися, не то рыдающими губами и повторяла: «Все равно, все равно!»

– Катя, ты что? Ты куда?

Катя повернулась ко мне, и я сразу поняла, какие глаза бывают у человека, понимающего, что он сорвался со скалы и летит в пропасть.

– Все равно это – пара! – сказала она, беззвучно хохоча и моргая от слез.

После Катиного ухода от нашей компании осталось всего три человека: я, девушка из Новосибирска, имеющая удостоверение корреспондента местной газеты, и парень из Майкопа, напечатавший два фельетона в «Вестнике Адыгейского университета». Все мы продержались до конца, с небольшой разницей во времени сдали работы, дождались друг друга на улице и

поехали в общежитие. Через пару дней мы снова вместе, но уже не держась за руки, приехали искать в списках свои оценки. Мои товарищи получили двойку и тройку и смело могли паковать чемоданы, чтобы возвращаться в Майкоп и Новосибирск.

Я получила четверку. При полном отсутствии подготовки это было равносильно чуду.

Следующий экзамен был через день, но я не видела ни малейшего повода ни для волнения, ни для подготовки. Чудеса опьяняют, и я действительно была немного не в себе. Мне словно громким голосом объявили о моем всемогуществе, о неуязвимости для козней судьбы, о том, что моя счастливая звезда намертво приколочена к небосклону и ее не сорвут никакие переменчивые ветра фортуны. Выйдя из дверей факультета после того, как я узнала свою оценку, я не смогла сразу поехать в общежитие: радость бурлила во мне так сильно, что если бы я хоть немного не остыла, то, наверное, умерла бы от какого-нибудь неизвестного науке (но вполне реального в моем случае) ожога души. Я пошла ликующе-широкими шагами вдоль Охотного ряда по направлению к гостинице «Москва», свернула на улицу Герцена, поднялась до Бульварного кольца и помчалась вниз по тихим бульварам, неся улыбку на лице, как транспарант, и считая каждого встречного своим братом. Все эти чинные бабушки с малышами, девушки с серьгами в пупке и разрезанными под коленом джинсами, парни с бутылками пива, беззлобной матерщинкой и плевками под ноги, закованные в галстуки деловые люди и сросшиеся плечами, переплетенные руками парочки не могли сейчас не радоваться за меня, не могли не желать мне добра и не могли не верить в произошедшее со мной чудо.

Я опомнилась возле метро «Кропоткинская», сбегала по ступеням в прохладную, полупустую пещеру станции и вихрем влетела в закрывавший двери вагон. Было даже досадно, что поезд тронулся и что не нужно больше никуда спешить и врываться: я была бы счастлива отныне передвигаться лишь прыжками и скачками.

– Привет! – сказали за моей спиной. Я обернулась. Там стоял тот самый молодой человек, что был так прочно связан со своим астральным телом и умел амортизировать ногами, как рессорами. Только как его звали?.. Ах да, Антон.

– Ой, здравствуй!

Я быстро поправила свою слегка перекосившуюся от бега кофточку.

– Какими судьбами?

Антон улыбался мне так дружелюбно, словно нас связывало нечто большее, чем получасовая тренировка на газоне. У него был низкий, но удивительно мягкий и теплый голос; так мог бы говорить большой пушистый кот, обрети он дар речи. Антон казался настолько своим и родным, что мне вдруг захотелось броситься к нему на шею, делаясь неожиданно грянувшим счастьем.

– Я экзамен сдавала... Знаешь, у меня за сочинение четверка!

– Ух ты, круто! Congratulations.

– Что?

– Поздравляю, говорю! Можно щечку?

Не дожидаясь ответа, он мягко поцеловал меня в щеку, уколотив при этом своей, горячей и слегка небритой. Потом он спрашивал что-то еще, я что-то еще отвечала, но не отдавала себе никакого отчета в том, что говорю. После ничего не значащего прикосновения губами к щеке на меня напало какое-то блаженное оцепенение, словно я была от рождения к тому приговоренной Спящей красавицей, наконец-то уколотившей палец о веретено.

На этом месте вагон качнуло – поезд стал тормозить в туннеле. Я потеряла равновесие, продолжая по инерции мчаться вперед, но Антон вовремя схватил меня за плечи и удержал на ногах, притянув при этом к себе.

– Э-э, дорогая моя, надо побольше заниматься ушу, а то чуть что – теряешь точку опоры.

Он продолжал держать меня, хотя поезд уже спокойно отдыхал на рельсах. Фактически это были полуобъятия – мы стояли почти вплотную друг к другу. Антон был выше меня почти на целую голову, а плечи его широко расходились вправо и влево от моих; мне казалось, что если бы он захотел окружить меня своим телом, то мог бы легко это сделать. Он был в сетчатой летней безрукавке, и сейчас, когда мышцы напрягались, удерживая меня на месте, бицепсы казались просто шарообразными, а рука от кисти до локтя – треугольной. Он вполне мог бы позировать для образа молодого Ильи Муромца, тем более имея такое чисто русское широкое скуластое румяное лицо и пшеничного цвета волосы. Самой характерной чертой его лица была постоянная задушевная, немного простоватая улыбка. Смеясь Антону в ответ, я подумала о том, что от Ильи Муромца до Иванушки-дурачка не так далеко, как кажется. Остановимся на среднем арифметическом между ними – на Иване-царевиче.

Поезд начал медленно трогаться. Антон стиснул мои плечи еще крепче и притянул меня еще ближе, так что живот мне теперь задевала пряжка его ремня. И тут я вышла из оцепенения: поезд раскачивался, набирая скорость, мы с Антоном чуть пошатывались ему в такт, и в какой-то момент я ощутила поднимающуюся внизу живота и плывущую наверх горячую волну. Такое со мной случилось впервые, я даже не поняла, что это было, но почувствовала себя удивительно хорошо и удивительно беспокойно: словно кто-то со знанием дела уколол меня в самые нервы сотней сахарных иголок.

– Знаешь, это большая редкость, что мы встретились в метро, – произнес Антон.

Это не было такой уж редкостью на «студенческом» участке Сокольнической линии – от «Парка культуры» до «Юго-Западной». В то время я об этом еще не знала, только с надеждой спросила:

– Может быть, нам по пути?

– По пути до «Университета».

– Ты ТАМ уже учишься?

– Уже три года как учусь. На геологическом факультете.

Это был самый легкий для поступления и самый необременительный с точки зрения учебы факультет. В то время я об этом тоже еще не знала и прониклась к Студенту подобострастным уважением. Точно так же я уважала бы человека, покоровившего Эверест.

– Трудно было поступать?

– Да фигня! Только сочинение дурацкое пришлось писать: обо всяких там «маленьких людях» у Достоевского.

– У нас тоже была такая тема! – воскликнула я в восторге от того, что между мной и обитателем другой планеты находится все больше точек пересечения.

Темы экзаменационных сочинений не меняются десятилетиями. Но в то время я об этом опять-таки не знала.

– Я бы о «маленьких людях» писать не взялась.

– А мне было все равно, что писать. Взял с собой шпоры – штук двадцать, – думаю, хоть одна из этих тем да попадется. Вот и попалась.

– И тебе удалось списать?! У нас одного выгнали за шпаргалку.

– Так шпаргалка без ловкости рук ничего не стоит. Уметь надо – знать know how!

В то время я, конечно же, не знала, что студента, списывающего со шпаргалки, видно всегда, а попадется он или нет, зависит от доброй воли преподавателя. Мое уважение к Антону приобрело романтически-криминальный крен: точно так же я оценила бы ловкость обаяшки бандита, обчистившего банк.

После этого мы несколько минут катились по рельсам молча. Я молчала оттого, что было упоительно-приятно находиться в такой близости от человека старше себя, больше себя, опытнее и искуснее себя; не хотелось разрушать это чувство разговором.

Поезд сейчас проезжал единственный открытый участок трассы – мост над Москвой-рекой. Зрелище было жутковатое: из обоих окон не видно никакой опоры, кроме воды. К счастью, я это видела не в первый раз.

– Страшно? – спросил Антон.

Я не могла не подыграть ему:

– Очень!

– А я, между прочим, могу раскачать вагон...

Уже знакомым мне движением Антон стал переносить тяжесть тела с одной ноги на другую, как если бы действительно задался целью столкнуть вагон с рельсов. И как бы смешно это ни было, мне действительно стало страшно, словно я, как ребенок, свято поверила в правдивость игры. Я с визгом вцепилась в Антона, прижимаясь уже по-настоящему.

– Ты что?! Перестань! Ну пожалуйста, не надо!!!

Он перестал «раскачивать» вагон и с довольной ухмылкой положил сцепленные в замок руки мне на плечи, так что голова оказалась словно в петле.

– Слушай, где ты живешь в ДСВ? – спросил он тихо.

Я ответила. Было бы невыносимо думать, что эта игра – не для меня. В детстве я обожала прятки и всему на свете предпочитала те секунды, когда дрожишь от возбуждения, сидя в засаде, не смеешь поднять головы и, холодея, слышишь прямо перед твоим укрытием шаги водящего...

...Вагон снова провалился в подземную черноту, а минуту спустя замелькали белые колонны станции...

– Инна, выходим, не тормози!

Антон буквально выдернул меня за руку из вагона, куда уже начали заходить пассажиры. Это была его станция – «Университет», я должна была сойти на следующей. Антон поправил на мне перекосившуюся в давке кофточку, развел в обе стороны растрепанные волосы, так чтобы они не закрывали лоб.

– Значит, дальше нам не по пути? – спросил он, проводя пальцами по моей щеке. – А что тебе делать в твоём ДСВ? Пошли со мной!

Я вздрогнула и посмотрела на Антона так, как если бы не видела до сих пор. Он хочет повести меня за собой...

Наверное, согласие следовать за Мужчиной повсюду было написано у меня на лице, потому что Антон без лишних разговоров взял меня за руку и повел к выходу из метро.

Я впервые в жизни подходила к зданию МГУ на Воробьевых горах с его центрального входа, который засасывал всю многотысячную армию спешащих на лекции студентов и преподавателей. До сего момента я многократно видела университет на открытках или живьем – издали, привычно восхищалась его скалоподобными формами, но только сейчас, вступая через турникет в его бездонное чрево, я поняла, куда я на самом деле попала.

Это место помпезно именовали храмом науки... Нет, здесь не просто храм, а какая-то квинтэссенция всех известных человечеству соборов, базилик, святынь. Подходишь и видишь готические, вознесенные в небо формы; окидываешь взглядом – он расплывается до треугольника египетской пирамиды, а вход стерегут два огромных бронзовых сфинкса – мужчина и женщина, – слуги науки с непроницаемо-вдохновенными лицами. Проходишь через турникеты и чуть дальше – в круглый холл, а там перед тобой уже античная колоннада. Между колоннами, как статуи богов, высятся стенды с газетами, и каждая говорит голосом одной из бесчисленных ныне в стране партий.

– Это наш «Гайд-парк», – прокомментировал Антон, не замедляя шага.

Мы прошли немного вперед и оказались возле Места Поклонения Книгам. На темном дереве лотков – огромные пестрые развалы; каждую обложку хочется немедленно распаковать,

каждую страницу хотя бы наискосок вспахать нетерпеливым взглядом. Берн, Фромм, Ницше, Рерих, Блаватская... А с другого полюса – Шаламов, Довлатов, Веллер, Бродский и бессмертный пассажир электрички «Москва – Петушки»... И прямо посередине, словно живое сердце всего книжного бума, тоненькая книжица с херувимами и рокерами на обложке – либретто рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

С кружащейся головой я оторвалась от лотка и прошла за Антоном еще шагов двадцать вперед – к лифтовому холлу. Здесь происходило такое же светопреставление, как в общежитии, но мне стало не по себе, когда я увидела количество этажей на табло – 33! И ведь это не предел, как сказал Антон, просто дальше не ходят лифты...

Я ощутила резкий приступ тошноты – кабина взмыла вверх, как самолет с вертикальным взлетом. Я непроизвольно схватила Антона за руку, он засмеялся и успокаивающе пожал мои пальцы. Мы вышли на шестнадцатом этаже и устремились в лабиринт коридоров, как на бой с непременно обитающим там Минотавром.

Антон оставил меня в небольшом холле – рассматривать выставленные за стеклом образцы минералов – и ушел договариваться с преподавателем о пересдаче; оказывается, за ним до сих пор числился хвост. Я прильнула к окну, и открывшийся вид открыл мне одну простую истину: Москва – моя! Моя со всеми кремлевскими звонницами, сталинскими высотками, зеленым ломтем Воробьевых гор и похожим на упавшие летающие тарелки спортивным комплексом Лужников. Моя до самых отдаленных окраин, смазанных серо-фиолетовой дымкой. Моя, пока я гляжу на нее из окон ее университета.

Теперь я знала, что такое любовь с первого взгляда – это было то чувство, что я испытала, впервые попав в МГУ. Все было в нем, и он был всем: святилищем, суетным человеческим муравейником, теплым домом. Одни его обитатели в накрахмаленных сорочках и с крахмалом мела на пиджаках выходят из лекционных аудиторий, а другие в домашних тапках и тренировочных штанах с пузырями на коленях идут из примыкающих к центральному корпусу общежитий в кинозал. Одни гуляют по его лабиринтам в обнимку, не замечая никого, кроме себя самих, другие вышагивают, выпятив лацканы пиджаков и рассуждая о кафедральных бурях и скорых сдвигах земной коры. Одни выходят из парикмахерской со свежей прической, а другие купаются в бассейне, от которого даже в холл проникает дуновение хлорки. А осенью эти обитатели потянутся через закрытые сейчас решеткой проходы в университетский Дом культуры, сядут в бархатные бордовые кресла и будут слушать концерт Театра старинной музыки, или смотреть выступление рок-балета, или улюлюкать, приветствуя участников КВН. Они пойдут на экскурсию по старой Москве, организованную Клубом ученых, поедут нырять с аквалангом в Крым, будут учить немецкий на лесной поляне, как дерзко заявляет начертанное фломастерами объявление...

Один дом. Одна семья. Одна жизнь. Жизнь во всей ее полноте: с наукой и любовью, высоким искусством и простыми человеческими радостями, спортом и книжной пылью, поездками по городам и весям и многолетним корпением за письменным столом. Юность, зрелость и старость с радостью раскрыли здесь друг другу объятия, и весь университет насквозь пронизан духом творческого цветения. Открываешь тяжелые двери – и в прохладе невообразимо толстых стен ты становишься частью теплой и доброй вселенной, которая готова вскружить тебе голову, напитать и ум и сердце и вознести к самому шпилью в вихре славы или просто оставить в одухотворенном человеческом хороводе. Я раскинула руки, готовясь вот-вот закружиться на высоте шестнадцатого этажа, на самой вершине Воробьевых гор.

Это мой дом, моя семья и моя судьба. Мне предстоит учиться в другом корпусе – старом историческом здании университета в самом центре Москвы, но тем не менее я буду жить с домом-святилищем и домом-муравейником одной жизнью. Мне будут принадлежать все сокровища науки, вся красота искусства, вся радость общения с людьми и все бескрайне далекие перспективы, на которые открывается вид с Воробьевых гор.

Антон вернулся – и мы упали обратно на лифте (в первую секунду пол буквально вырвался у меня из-под ног). Затем я опять вприпрыжку бежала по бесконечным переходам, окончательно теряя ориентацию, полувися у Антона на руке и захлеб рассказывая о том потрясающем виде на Москву, что мне открылся из университетских окон. Через пару минут я запросила пощады – мой спутник шагнул чересчур размашисто.

– А мы уже пришли, – заверил Антон, уводя меня по ступеням куда-то вниз, прямо в сладкое облако запахов еды.

Я не помню, что мы тогда ели, но мне эта еда показалась нектаром и амброзией, а Антон охарактеризовал ее как «обычное черт-те что». Десерт же, на мой взгляд, был слишком хорош даже для небожителей: корзиночки из песочного теста с начинкой из джема и стоящих горкой взбитых белков. Я снимала вершину горки губами и таяла от счастья быстрее, чем облачно-белая масса у меня во рту.

– А у тебя красивое имя, – сказал Антон, глядя на меня с пристальной улыбкой.

– Да, ничего, – согласилась я.

– И-н-н-а... – Он протянул мое имя так, что оно зазвенело гитарной струной. – Необычно. Ты и сама должна быть какая-то иная, ни на кого не похожая...

Я опять почувствовала прикосновение сахарных иголок.

– Откуда ты?

– Из Пятигорска.

– У вас там и правда пять гор вокруг?

– Правда: Машук, Эльбрус...

– Эльбрус тоже виден? А меня там на вершине ты никогда не замечала? На горных лыжах, в красно-белом комбинезоне.

– А шапочка у тебя была какого цвета?

– Я без шапочки катаюсь.

– Значит, это был не ты.

Мы хохотали без малейшего стеснения, заставляя оборачиваться всех соседей по столовой.

– А ты москвич?

– Sure.

– Что?

– Конечно, говорю.

«А что же ты делал возле общежития? Да еще утром?» – этот вопрос я не задала, потому что знала на него ответ. Знала, но слышать не хотела. Если я этого не услышу, значит, этого как будто не было. Не было и не будет, потому что сейчас Антон сидит рядом со мной, а заглядывать в будущее я не желаю. Я и так знаю, что будущее мое светло, словно озаренное вечным рассветом.

Обратно мы возвращались совсем не той дорогой, которой пришли в «святилище». Антон не стал подниматься вверх из столовой, а повел меня подземными лабиринтами мимо кухонь и университетского отделения милиции, так что мы вышли на поверхность из совершенно незаметной снаружи каменной складки огромного здания. У меня было такое чувство, что мой спутник, как Орфей Эвридику, вывел меня на поверхность земли из подземного мира. На мне теперь вечно будет лежать печать соприкосновения с чем-то неизмеримо великим и таинственным.

Распрощались мы на платформе метро.

– Напомни еще раз, в какой ты комнате живешь, – тихо сказал Антон, обводя пальцем контур моего уха.

Я напомнила. Теперь его палец играл моей серьгой.

– Когда у тебя следующий экзамен? Я приду вечером тебя поздравить.

Я сказала. В горле у меня слегка пересохло.

– Ну, пока! – Как и в начале нашей встречи, он поцеловал меня в щеку, а мне отчаянно захотелось его обнять. На этом мы разошлись по разным поездам.

Через день я шла на экзамен, чувствуя себя так, словно я еду на белом коне, а дорогу мне устилают цветами. Второй встреченный мной в жизни Мужчина ясно дал понять, что Москве я желанна так же, как желанна ему самому. А Москва желанна мне – значит, мы с этим городом нашли друг друга...

– Абитуриенты, заходите, пожалуйста!

Я бестрепетно шагнула в распахнувшуюся дверь, не смущаясь даже тем, что немного поторопилась. К тому времени я уже знала, что лучше всего приходить на экзамен к самому началу (пока преподавателям не с чем тебя сравнивать) и сдавать его в первой пятерке отвечающих, лучше всего пятой по счету (больше всего времени на подготовку). В своей пятерке я оказалась третьей и радостно напомнила себе, что три – счастливое число.

– Берите, пожалуйста, билеты.

Я спокойно протянула руку, не пытаясь повисить «счастливостью» билета разнообразными ухищрениями: тянуть его левой рукой вместо правой, просить преподавателя самого вытянуть мне билет, брать тот, что лежит самым нижним в кучке...

Я перевернула судьбоносную белую бумажку, но не увидела ничего, кроме номера. Однако у моего билета был номер «7», а более счастливого сочетания, чем три и семь, нельзя было себе представить. К тому же седьмого июня был мой день рождения – знаки расположения ко мне судьбы сыпались отовсюду.

– «Символизм в поэме Блока “Двенадцать”» и «Сюжет и композиция драмы Островского “Гроза”», – огласил преподаватель. – Садитесь, готовьтесь. Вопросы есть?

Я покачала головой, буквально падая на указанное мне место. Вопросов у меня действительно не было, но не было и ответов. Когда читаешь «Двенадцать», то действительно бродишь между символов, словно в лабиринте. Но как об этом рассказать, чтобы ответ прозвучал не в стиле анекдота про Чапаева, поступавшего в военную академию: «...Я понимаю, что 0,5 и 0,5 будет литр, а по-научному сказать не могу!...»?

«Гроза»... Всегда терпеть не могла эту пьесу за редкую прямолинейность и отсутствие подтекста. Свекровь тиранила невестку, та терпела-терпела, да и утопилась. Обычная бытовуха, такого и в наше время полно (правда, современная Катерина скорее утопила бы саму свекровь, а с мужем просто развелась). Не знаю, зачем эту пьесу вообще было писать, и тем более не понимаю, зачем мне рассказывать о ее сюжете и композиции...

– Кто следующий? Кажется, вы третьей брали билет?

Я дернулась, как марионетка, чувствуя, что судьба резко натянула мою нить. Не пытаясь оттянуть время, я шагнула к преподавательскому столу. Надо просто успокоиться и пойти на поводу у своего языка, смогла же я буквально по наитию написать сочинение!

– Поэма Блока «Двенадцать», – начала я наобум, – была написана в непростое время. Шла революция, в стране была разруха, а в умах – разброд и шатания...

Говоря это, я с ужасом чувствовала, что мои слова, вместо того чтобы стать блестящей, тонкой рапирой и наповал сразить экзаменатора, принимают форму первобытного, грубо отесанного зубила. С таким еще можно пойти на мамонта, но попробуй одолей им профессора или доцента!

– Эти разброд и шатания Блок запечатлел в поэме в виде символов, а поскольку сам он принадлежал к символизму как литературному течению, ему это легко удалось...

Первобытное зубило на глазах превращалось в простой булыжник. Экзаменатор слушал меня с абсолютно непроницаемым лицом.

– Вот, например, образ голодного пса, который стоит на перекрестке...

– Простите, кто стоит: пес или образ?

– Пес. В виде образа.

– Так... И зачем они там стоят?

– Затем, что Блок хотел показать, насколько стоящий рядом с псом буржуй похож на этот образ.

– Давайте на секунду прервемся. Скажите, пожалуйста, какие символические образы вам больше всего запомнились при чтении поэмы?

– Вьюга! – уверенно сказала я, помня, что двенадцать красноармейцев все время заносит снегом.

– А еще?

– Пес.

– В виде образа... Ну а еще-то что?

Я молчала. Мой булыжник издевательски таял в руках, оказавшись просто сосулькой; обороняться, а тем более наносить удар было нечем.

– А вот число идущих красноармейцев – двенадцать – у вас не вызывает никаких ассоциаций?

– Это дюжина, – сказала я, сглатывая сухим горлом какую-то густую слизь, – она считается счастливым числом. Тринадцать – это уже чертова дюжина.

– Сколько было апостолов у Христа?

– Двенадцать?

– Вы Библию не читали?

– Ее нет в программе...

– Ну, мало ли чего нет в программе! Библия уже столько веков питает все мировое искусство... Хорошо, последний вопрос: почему Блок считает, что на спине у красноармейцев должен быть бубновый туз? И что это за «бубновый туз»?

Я не смотрела экзаменатору в глаза, понимая, что не увижу в них ничего, кроме презрения.

– Переходите ко второму вопросу.

Впадая в такое морозное оцепенение, словно разгневанная поэма «Двенадцать» замела и меня вьюгой, я начала пересказывать содержание «Грозы». Экзаменатор слушал, уже не перебивая и, видимо, уже не вслушиваясь, а имея насчет меня совершенно четкое мнение. Лишь под конец он прервал меня вопросом:

– Что такое сюжет? Дайте определение.

– ...

– А что такое композиция?

Вьюга и зимний Петроград отступили. Теперь лицо у меня горело, словно на южном солнцепеке.

– Давайте зачетку.

Взяв ручку, он на секунду приостановился.

– У вас есть какие-нибудь печатные работы? Вы когда-нибудь печатались в газетах, журналах?

Я не смогла даже достойно покачать головой, а в отчаянии мелко затрясла ею.

Зачетка вернулась ко мне. Я даже не стала смотреть в нее: не все ли равно, каким почерком написано слово «неуд.»?

Я вышла на улицу, неся на своих плечах все желтое здание факультета журналистики, все остальные университетские корпуса, вместе взятые, всю Москву и весь земной шар. Я не плакала, я вся была смерзшейся и почти окаменевшей болью. Наверное, такое же чувство испы-

тывают приговоренные к смертной казни: у тебя отнимают весь мир, а ты ничего не можешь с этим поделать.

У меня изнуряюще ныла голова, оттого что в нее бесконечным тараном бил один и тот же вопрос: почему? Я прекрасно помнила (и любила!) поэму «Двенадцать», я вдоль и поперек знала бесхитростную «Грозу», я была более чем уверена в себе, экзаменатор меня не заваливал, у меня всегда была пятерка по литературе, Илья Семенович сказал, что я должна поступить на журфак, а Антон заранее собирался меня с этим поздравить... Почему???

Меня не столько мучило унижение, связанное с провалом, сколько страшная уверенность в том, что дом-святилище, дом-муравейник и человеческий хоровод на Воробьевых горах потянутся для меня раз и навсегда. Москва как-то разом изменила свои контуры, в ней появилось одно недоступное мне измерение – университет.

Через пару минут я спустилась в метро, и подземный вид мегаполиса – сияние ламп, мрамор, толпы, свист поездов – показался мне недостижимо-прекрасным. Этот мир на мгновение впустил меня, а теперь с облегчением выталкивает, словно недостойную себя соринку – из глаза...

Эта мысль царапнула меня настолько больно, что я наконец-то начала рыдать. Рыдать едва ли не во весь голос, звучно всхлипывая, захлебываясь, шмыгая носом, обращая на себя внимание всего вагона. Как ни странно, мне не было стыдно: слезы вырывались настолько же неподконтрольно, как рвота. Через пару станций они перестали бить фонтаном и начали просто сочиться, я прикрыла лицо рукой и со вспухшими, постоянно намокающими веками доехала до «Проспекта Вернадского» и до Дома Светопредставления. Там в пустой комнате я раскрыла чемодан, чтобы начать сборы, но не выдержала и не смогла положить в него ни единой вещи. Швырнув все, что было у меня в руках, на пол, я повалилась на кровать лицом в подушку, и тут в голове переключился какой-то рубильник: в следующую секунду меня накрыл спасительным одеялом сон.

Я проснулась около семи вечера от стука в дверь – пришел Антон. Ожидая в коридоре, пока я открою, он успел принять картинную позу: в одной руке коробка конфет, другая сжимала бутылку шампанского, а в расстегнутый ворот рубашки был вставлен букет полевых цветов, такие обычно продают старушки у входа в метро «Университет». Мой гость сиял румянцем; у него был настолько цветущий, праздничный, прямо-таки подарочный вид, что я непроизвольно отступила на шаг и даже затрясла головой, словно давая понять, что радость жизни больше не для меня.

– В чем дело? – спросил Антон, быстро заходя, кладя атрибуты праздника на стол и беря меня за обе руки. – У тебя четверка?

Я зачем-то попыталась вырваться из его рук и опять отступить назад.

– Тройка?!

Я захохотала: плакать я больше не могла.

Часам к девяти вечера мы сидели на кровати, и обнимающая рука Антона успокоительно похлопывала меня по плечу. Мы выпили все шампанское и съели все конфеты (нужно же было что-то есть и пить!). Я закрыла уже пустую коробку крышкой и усмехнулась:

– Ты как чувствовал!

На коробке была изображена знаменитая васнецовская «Аленушка», которая, скорчившись на камушке у пруда, со вселенской печалью смотрит в воду.

– Ты уже купила билеты?

Я покачала головой и начала безжизненно расспрашивать, где их надо покупать и как туда проехать. Антон отвечал в тон мне – без малейшего энтузиазма в голосе. Через пару минут разговор естественным образом заглох. Я молча перебирала цветы в подаренном букете, Антон перебирал мои волосы.

– Ты уже звонила домой? – спросил он вдруг каким-то новым голосом. Мне показалось, что в этом голосе был энергетический заряд.

– Нет.

– Вот и не звони... пока. И не покупай билеты.

– А что я буду делать?

– Жить в Москве – ведь ты за этим приехала.

– Где я буду жить? И на что?

– А на что бы ты жила, если бы поступила? Тебе бы, как и всем, родители присылали деньги; стипендия – это, знаешь ли, на карманные расходы... Проживешь годик, потом поступишь, а дома у тебя будут просто считать, что ты перешла на второй курс.

Я с ужасом почувствовала, что выход есть: авантюрный, но выход. Действительно: не могу же я не поступить на следующий год, раз Антон говорит об этом так уверенно. Только...

– Где же я все-таки буду жить?

– Дай мне пару дней, ладно? Я попробую устроить тебе общежитие.

– Как?!!

– Это мои проблемы.

Антон повернулся ко мне со спокойной полуулыбкой, и я поняла, что опять смотрю в глаза Мужчине. Меня слегка лихорадило, но я кивнула, не отрывая от него глаз.

III

Через два дня мы вдвоем (я, Антон и чемодан) подходили к главному зданию МГУ на Воробьевых горах, тому самому, из окон которого мне еще недавно открывались радужные перспективы. Поднявшись по ступеням из гардероба, мы круто повернули назад в боковой проход и, минуя вахту с не менее сонным, чем в ДСВ, вахтером, вошли в общежитский корпус.

Меня буквально трясло от волнения, пока мы ждали лифта: неужели мне все-таки выпало счастье жить в стенах МГУ? Неужели на следующий год мне выпадет счастье учиться в этих стенах? Неужели меня не выбросили из вдохновенно-опасного столичного водоворота в тихий провинциальный пруд, поросший безобидной ряской?

Мы вышли на седьмом этаже (я опять со свежей болью отметила счастливую цифру «семь»). Антон, повозившись, открыл темную, цвета настоящего старого дерева, дверь. Я робко вошла в новую обитель и с первой же секунды ощутила, что другого дома я себе и не желаю.

Здесь все было древним. Сама комната имела совершенно несовременные пропорции: она была узкой и высокой – настоящая студенческая келья! Шкаф оттенка мореного дуба напоминал бюро пушкинских времен: сверху – застекленные полки для книг, ниже – письменный стол. Железная кровать самой примитивной формы (в квартирах такие уже не встретишь!) тоже наводила на мысль о монастыре. Я зачарованно присела на казенное покрывало и посмотрела на дверь, ожидая увидеть в темном проеме монахиню со свечой.

– Нравится? – спросил Антон.

– Очень!

Я встала и, обогнув колченогий стол, протиснулась к окну. Внизу виднелся уютный садик с кустами отцветшей сирени и бархатцами на клумбах, за ним – высокая железная решетка, преграждавшая непосвященным вход в святилище науки. Меня поразила толщина университетских стен: я могла совершенно спокойно лечь поперек подоконника, и на весу остались бы только ноги ниже колен.

Я повернулась к Антону, чувствуя сияние на собственном лице: вот оно – волшебное исполнение надежд! Меня наконец-то накрепко замуровали в столь желанном для меня мирке.

– Как тебе удалось получить эту комнату?

– Да расслабься ты! Удалось и удалось... Считай, что у меня связи в верхах – на тридцать третьем этаже.

Я с готовностью захохотала и шлепнулась на кровать, как ребенок, раскачиваясь на панцирной сетке. Ничего мне в эту минуту так не хотелось, как расслабиться. Антон смотрел на меня с добродушной усмешкой – как отец на расшалившегося малыша. Затем он стал деловито давать инструкции:

– Белье меняют раз в две недели – просто в определенный день сдаешь его комендантше и получаешь новый комплект. Кухня в конце коридора, но лучше заведи себе плитку; пожарные это, конечно, запрещают, но плитки есть у всех. Холодильник я попробую тебе раздобыть.

– Холодильник?

– Ну, должна же ты где-то хранить продукты!

– Ах да, действительно...

– Можешь, конечно, ходить в столовую, но если есть там каждый раз, то выйдет дорого. Удобнее готовить самой... Телефон – там, где лифты, но если надо позвонить по межгороду, то придется идти на почту. Хотя знаешь что: можно это сделать и бесплатно.

– Как???

– Я тебе покажу.

– Пошли! – Я вскочила с кровати.

Я была настолько взбодоражена, что сидеть на месте или чинно раскладывать по полкам свои вещи было сущей пыткой.

Дверь я закрывала уже сама – как полноправная хозяйка. Когда мы шли по направлению к лифтам, навстречу нам попала сухощавая и сутулая женщина лет пятидесяти в темном казенном халате. Шла она суетливым шагом, глядя в пол, и напоминала мне водомерку.

– Здравствуйте, Серафима Гавриловна! – бодро, как на параде, выкрикнул Антон.

«Водомерка» подняла голову, и мне бросилось в глаза, что смотрит она по-мышьиному пронырливо.

– Здравствуй, Антоша!

– Принимайте новых жильцов! Это Инна, – представил он меня.

– Очень приятно! – Серафима Гавриловна улыбнулась совершенно не понравившейся мне улыбкой: в ней было едва уловимое, непонятно откуда взявшееся презрение.

– Инна, если будут какие-то проблемы, обращай к Серафиме Гавриловне.

– Конечно-конечно, Инночка, обращай обязательно! – зачастила комендантша, цепко хватая меня за рукав, тыча рукой куда-то в конец коридора и подробно разъясняя, как ее в случае чего можно найти. Когда мы наконец попрощались и Серафима Гавриловна уже разворачивалась, чтобы идти в своем направлении, она вдруг снова неприятно улыбнулась и прощмыгнула по мне взглядом. Мне стало не по себе: словно меня в одну секунду ощупали чьи-то липкие руки.

Когда мы с Антоном вошли в лифт, я подавленно молчала. Мой проводник по лабиринтам МГУ почувствовал это, нахмурившись, взял меня за плечи и развернул к себе:

– Ты чего?

– Эта Серафима... Как-то она странно на меня смотрела!

– Странно смотрела? Да у тебя глюки!

Я не могла не засмеяться, чувствуя приходящее облегчение: как хорошо, когда парой слов разом снимается проблема!

– Точно глюки?

– Точно!

Как по команде я расслабилась и отдалась своему счастью – счастью жизни в МГУ, которое теперь со мной на много лет. Год жизни «зайцем» и подготовки к поступлению, пять лет учебы, три года аспирантуры... Девять лучших лет юности в лучшем из всех возможных мест – разве это не чудо?!

Мы вышли за чугунную ограду главного здания, перешли улицу и вошли в другую ограду – за ней размещались три гуманитарных корпуса, спортивные залы и площадки, магазин, столовые – еще один район необъятного города МГУ. Перед первым гуманитарным корпусом горел вечный огонь в обрамлении белых колонн, а рядом сверкал отражающий небо пруд, и везде на газонах сидели, лежали и даже просто валялись студенты. Пары обнимались на виду у всех безо всякого стеснения, и я представила себе, что когда-нибудь и мы с Антоном будем так же лежать у пруда, легко поглаживать друг друга и что-то шептать друг другу смеющимися губами.

Зайдя внутрь серо-фиолетового здания, Антон повел меня к лифтам. Когда кабина опустилась и двери разошлись, я увидела очевидную, но совершенно невероятную для лифта вещь – телефон.

– Вот, – гордо сказал Антон с видом человека, произносящего «Сезам, откройся!», – звони!

– У меня ведь нет жетона...

– И не надо! Звонишь, как по обычному межгороду: набираешь восьмерку, ждешь гудка – и номер.

– Прямо так?!

– А тут халява.

Не веря в происходящее, я сняла трубку и услышала отдаляющийся голос Антона:

– Я тебя подожду. Наговоришься – приезжай вниз!

Я ехала наверх в полном одиночестве и ватными пальцами крутила диск. Возможность бесплатно звонить из лифта была уникальным просчетом университетской администрации (впоследствии эту ошибку исправили), но полностью находилась в рамках закона. Однако именно сейчас я вдруг осознала, в какую авантюру влипла, оставшись в Москве.

Я набрала мамин рабочий номер и прислонилась к стене – мне нужна была опора. Несколько гудков. Затем:

– Библиотека.

Я не могла говорить: совесть вдруг разом скрутила мои голосовые связки.

– Алло, вас не слышно!

– Мама...

– Доченька! – Меня даже испугал взволнованный вопль за тысячи километров от меня. – Доченька, ну как ты?!

– Я поступила.

Теперь говорить не могли уже на другом конце провода. Лишь пару секунд спустя я услышала совершенно потустороннее:

– Как?!

– Да вот так...

– Так быстро закончились экзамены?

– Их было всего три. Не четыре, как мы думали, а только три.

– И что ты получила?

– Ну, какая разница... главное, что вышел проходной балл.

– Доченька!.. (Я услышала классический всхлип.) Доченька, я тебя поздравляю! Да неужели... Господи, какое же это счастье! Доченька, теперь учишься, учишься изо всех сил; тебе будет трудно, ты не так подготовлена, как москвичи, но старайся, как только можешь. Ты должна стать человеком, понимаешь? Доченька мне трудно говорить, я так волнуюсь, у тебя деньги бегут за переговоры... Инночка, у тебя сейчас будет много соблазнов: большой город, новые знакомые... Но ты знай свое и бей в одну точку: высшее образование и достойная работа. Муж, дети – это все, конечно, важно, но это все придет, главное для тебя – получить профессию, выйти в люди. Я смешно, конечно, говорю... Но от души, поверь мне! Стань человеком, и все у тебя в жизни будет по-человечески. Доченька, я так за тебя рада!

Теперь мама откровенно плакала в трубку.

– Спасибо, мамочка.

Я вдруг перестала испытывать стыд: мамины напутствия как будто действительно сделали меня студенткой журфака. Ну, пусть я ей по-настоящему стану только через год, но ведь стану же! Мама так радовалась, что я начала радоваться за свое будущее вместе с ней и, как пионер, клясться в верности ее идеалам:

– Я буду учиться как зверь, ты не думай! Я тут всем покажу настоящую журналистику!

– Ну вот и молодец, ну и слава Богу!

– Мам, ты не могла бы мне денег прислать?

– Конечно-конечно! Сколько?

– Ну примерно...

Денежным вопросом мы и закончили разговор. Когда я подъезжала к первому этажу, где должен был поджидать Антон, то чувствовала себя окончательно успокоившейся и твердо стоящей на ногах: денег мама пришлет достаточно, а осенью я обязательно найду подработку. Вопрос же с поступлением на следующий год казался мне почти решенным.

Лифт раздвинул двери, выпуская меня в действительность.

- Ну как? – спросил Антон с чисто спортивным интересом.
- Все нормально, я учусь. Деньги пришлют.
- Класс!

Антон обнял меня за плечи с неожиданной силой. Я поняла, насколько он рад тому, что я остаюсь в Москве.

Мы снова вышли на улицу – к пруду и лежбищу студентов на газоне. Меня подмывал сладкий страх: а что теперь?

– Знаешь что, – мягко начал Антон на обратном пути, – я тебя сейчас немного провожу, а потом поеду домой – мне собираться надо.

– Собираться? Куда?

Я вздрогнула и как будто проснулась.

– Я в поход ухожу на байдарках по Карелии. Мы через пару дней уезжаем, а вещей – вагон и маленькая тележка, и надо все так упаковать, чтоб ни в коем случае не промокло. На одну из лодок заплату будем ставить, у меня чехла на палатку нет – покупать придется... Дел невпроворот. Так что я сейчас поеду, ладно? Ты тут как-нибудь сама разберешься?

– Разберусь, конечно... А когда ты вернешься?

– Недели через три.

Я постаралась взять себя в руки: в конце концов, Антон – просто мой знакомый. Он просто показал мне несколько приемов ушу, накормил конфетами после провала на экзамене и помог с общежитием. Это все. Он не обязан и дальше шагать бок о бок со мной, как бы мне этого ни хотелось.

– А когда я вернусь, то сразу же зайду к тебе, и мы отпразднуем новоселье.

Теперь мы стояли лицом к лицу, и Антон держал меня за обе руки. Он улыбался настолько тепло, что я поверила бы ему, будь он даже просто незнакомцем. И моя улыбка всплыла на губах сама собой.

– Ну, возвращайся. Я куплю шампанского и конфеты «Аленушка».

– И букет не забудь! – мягко сказал Антон, целуя меня на прощание в губы. Легко, но уверенно, осторожно, но без страха. Когда он ушел, я поняла, что буду делать ближайшие три недели: ждать. Радостно и без малейшего сомнения ждать.

Мне казалось, что время совершило лихой кувырок назад, снова сделав меня взволнованной школьницей, ждущей летних каникул. Вот уже скоро они придут, открывая мне выход из гавани на просторы, и в преддверии этого май качает меня, как парусник, на пенных гребнях. Начало самостоятельной жизни в Москве стало для меня настоящей весной, второй в этом году; по крайней мере возбуждение и вдохновение захлестнули меня так, как волны цветения захлестывают в это время землю.

Каждое утро я вырывалась из общежитского корпуса и вырубивала на дорогу к метро с уверенностью самолета, идущего на взлет. В метро я не могла спокойно усестись на месте: сначала я проходила весь вагон насквозь, затем стояла у последней двери, нетерпеливо переминаясь, а как только двери открывались, я стремительно выскакивала и перебегала в следующий вагон, чтобы тут же пройти насквозь и его. Я ни у кого не вызвала особого удивления: так из вагона в вагон обычно перебегают очень спешащие люди, которым к моменту остановки обязательно нужно попасть прямо к тому или иному выходу из метро. Ведь никто из посторонних наблюдателей не мог знать, что нужный мне выход будет находиться ровно посередине платформы и что мне ровным счетом незачем выигрывать у времени лишние минуты. На станции «Библиотека имени Ленина» Инну из города Пятигорска никто не ждал, как не ждал ее никто в городе Москве.

Но Москва уже была моей. Я уже ухитрилась захватить себе крошечную, одну миллиардную часть мегаполиса – как если бы я смогла расстелить свое полотенце на переполненном

пляже в разгар сезона, – а значит, все море людей, впечатлений и возможностей, составляющее Москву, было моим. День за днем я обходила дозором свои владения, не сожалея ни о едином пройденном метре и ни о едином увиденном клочке пространства. В первый же день, почти испуганно пройдя мимо слишком пестрого, слишком беспорядочного и слишком туристического Василия Блаженного, я свернула налево и случайно набрела на сгрудившийся вблизи набережной рой прелестных маленьких церквушек – настоящий выводок масляток под голым стволом гостиницы «Россия». Потом я на одном дыхании дошла до Котельнической набережной, где меня встретила младшая сестра МГУ – одна из островерхих сталинских высоток. Я внимательно изучила афишу кинотеатра «Иллюзион» – настоящий сборник старых легенд кинематографа – и поняла, что обязательно стану его завсегдатаем. На волне энтузиазма я легко взлетела на Таганский холм и почтительно замерла возле афиши легендарного Театра на Таганке, осознавая, что теперь мне доступно и это. (Конечно, Театр на Таганке уже давно не был легендарным, но в то время мне посчастливилось об этом не знать.)

Первый день прогулок лишь раздразнил мой аппетит. Я выходила повидаться с Москвой ежедневно. Вскоре я перестала ошеломленно вертеть головой по сторонам и начала выбирать любимые уголки, гулять по которым мне было так же уютно, как сидеть на диване с любимой книгой в руках. Большая и Малая Бронные улицы, «тихий центр» близ церкви Большого Вознесения, Гоголевский бульвар и отходящие от него к Садовому кольцу переулочки... В этих местах на душе становилось так покойно, словно Москва с широкой улыбкой раскрывала мне свои объятия.

Я не пропускала ни одного встретившегося на пути книжного магазина. Конечно, первым делом я зашла познакомиться с «Библио-глобусом», Домом книги и «Молодой гвардией». Но это были книжные мегаполисы, чересчур громоздкие и равнодушные к случайным гостям. На заповедный уголок я набрела случайно. Выбравшись из «Молодой гвардии» после первого туда визита во взмыленном и полумертвом состоянии, без единой покупки, я буквально столкнулась с глубоко ушедшим в себя человеком, который неторопливо двигался к метро, перелистывая здоровенный том под названием «Осень Средневековья» и явно пребывая в благодушном душевном состоянии. На вопрос: «Где вы это купили?» – он охотно показал дорогу, и вскоре я вышла к зданию, которое, по моим понятиям, могло стоять где угодно, только не в центре Москвы: это была настоящая деревянная избушка с крыльцом и скрипучими ступеньками (мне даже показалось, что во дворе был колодезный ворот, а у стены избушки – поленница). Внутри, правда, стоял компьютер, но его я заметила в последнюю очередь. В первую – великое множество книг, которые относились к самым разным областям гуманитарных знаний: «Скоморошество на Руси», «Словарь сюжетов и символов в искусстве», «Демонология эпохи Возрождения»... Объединяло их, видимо, одно – полная противоположность их содержания понятию «ширпотреб». Была там и художественная литература, с которой я никогда доселе не сталкивалась: тоненькие книжки с невыразительными черно-белыми обложками и абсолютно неизвестными авторами. Мне объяснили, что это современный самиздат: авторы, не полюбившиеся издательствам, выпускают себя за свой счет. Один из этих авторов даже сам раздавал свои книги, стоя в дверях. Мне бросилась в глаза и задержала на месте обложка: на ней было удивительно трогательное существо – нечто среднее между ангелом и Карлсоном с беспомощно опущенными руками... или крыльями? Пальцы напоминали перья.

– Возьмите! – безнадежным голосом попросил меня автор, протягивая свой шедевр. Я вскинула глаза и поняла, что на обложке его автопортрет.

Дома, свернувшись на кровати и сделав из настольной лампы подобие бра, я прочла первое стихотворение из «ангельской» книги:

Со мной так резок ветер, снег так сух
И ночь так холодна, что первый встречный,

Казалось бы, уж должен быть теплей...
Вот он идет, он теплоте своей
Единственный, угрюмый, верный сторож.

Я прикрыла книгу и одновременно прикрыла глаза, переполняясь удивительно теплым, светлым и радостным чувством. Ничто так не прекрасно, как собственная удача и благополучие на фоне несчастий другого человека. Моя весна на фоне его морозов. В эту минуту я по-настоящему любила этого автора-ангела с обвисшими крыльями: только он помог мне до конца оценить, как прекрасен мой собственный жребий. А ведь все еще только начинается!

К моменту возвращения Антона я знала центр Москвы едва ли не лучше его.

– Ну, ты даешь! – искренне восхищался он, когда я без умолку рассказывала ему о ставших моими любимыми маршрутах. – Это ж надо столько обойти! У тебя не ноги, а вечный двигатель.

– А сердце – пламенный мотор! – согласилась я, прижимаясь к нему покрепче. Я была безумно счастлива его возвращению и буквально парила рядом, обнимая его согнутую в локте руку, когда мы шли по общежитским коридорам и лестницам.

Антону явно было не трудно нести меня буквально на руках – мускулов у него, похоже, еще прибавилось. И вообще, он выглядел так, что плакаты с его изображением было впору развешивать в школах под лозунгом: «Дети, пейте морковный сок!»

Он постучался утром, часов в десять, когда я только умывалась, и я открыла дверь растрепанная, в халате, наскоро взяв по лицу полотенцем и думая, что мне предстоит встреча с коменданткой. И увидела перед собой букет, бутылку шампанского и коробку конфет. И вместо того чтобы воскликнуть «Ну, с возвращением!», мне захотелось мгновенно вскочить на кровать и прыгать на ней от счастья до тех пор, пока не откажут ноги.

Я молча впустила Антона и молча обняла, не смущаясь тем, что проявляю инициативу. Я не могла не обнять его так же, как не могла бы не сказать при встрече «Здравствуйте!» кому-нибудь другому.

– А ты отлично выглядишь! – пропел Антон своим «кошачьим» голосом. Мне показалось, что он это почти промурлыкал.

– В этом? – Я расхохоталась, разводя полы своего халата.

– Можешь снять – будешь выглядеть еще лучше.

Я смеялась, опуская лицо.

Мы выпили по полстакана шампанского за его возвращение, и Антон предложил сходить позавтракать. В столовой, где было на редкость пустынно и нам никто не мог помешать, он достал толстенную стопку фотографий и принялся рассказывать о своем походе. Я шумно восторгалась божественно-суровым Ладожским озером, восхищенно качала головой, слушая о ночевках под грозовым небом на каменных островках, завистливо вздыхала, узнавая о том, насколько сроднились все участники похода от совместно пережитых тревог, и чувствовала только одно: счастливое успокоение. Я больше не была одна на чужой планете – за мной вернулся родной космический корабль. Вернее, за мной наконец-то пришел папа и забрал меня домой из детского сада.

У меня по-прежнему не было в Москве никого, кроме Антона (чемодан был уже распакован и не мог претендовать на статус друга). В общежитии летом пустынно, а больше мне негде было заводить знакомства. Да я и не очень к этому стремилась, я ждала, когда вернется Антон и возьмет мою жизнь в свои руки.

И он вернулся. Почти одновременно с его возвращением закончился август, и я вдруг обнаружила себя отплясывающей на дискотеке в честь первого сентября – Дня первокурсника. А затем я обнаружила себя очумело хохочущей и проливающей портвейн из рюмки прямо на

рубашку Антона, на коленях у которого я в тот момент сидела: мы отмечали начало учебного года у кого-то из Антоновых однокурсников, и студенческая келейка наподобие моей вмещала ни много ни мало пятнадцать человек. Стены вокруг ходили ходуном и мешали жидкостям в бокалах удерживать равновесие.

Я влилась в студенческую жизнь так легко, словно действительно была ее частью. Дом-муравейник умел наделить каждого от своих щедрот: едва начиналась вторая половина дня, как возникали все мыслимые и немыслимые варианты времяпрепровождения. Часам к четырем, после занятий, ко мне всегда приходил Антон. Мы вместе пили чай, иногда вместе жарили на замызанной кухне картошку (благодаря замачиванию уже нарезанных ломтиков в воде и возникающей вследствие этого чрезвычайно вкусной корочке отсутствие мяса в приготовленном блюде было почти не заметно). Затем мы вместе шли в студию пантомимы. Антону было свойственно какое-то поистине античное уважение к человеческому телу, и он использовал любые средства, чтобы еще чуть-чуть усовершенствовать свое физическое величие. А я была счастлива тому, что занимаюсь самосовершенствованием бок о бок с ним.

Коллектив в студии подобрался душевный. Руководитель покуривал травку и в результате придумывал такие пантомимические сцены, что они неизбежно получали Гран-при на всех мыслимых и немыслимых конкурсах. Секрет (как объяснял мне Антон) состоял в том, что при забивании косяка время для человека сильно растягивается, и движения актеров, наблюдаемые руководителем, становятся невыносимо медленными. Стремясь подогнать их под «нормальный» (по его мнению) ритм, он добивается от людей настоящих чудес владения своим телом. При том что руководитель считал такие телодвижения само собой разумеющимися, а члены жюри считали их просто невыполнимыми, актеры выполняли их, не задаваясь вопросом о выполнимости, загипнотизированные своим гуру и его силой внутреннего видения. Придя в студию и проникнувшись ее духом, я поняла, что люблю чудеса, и с удовольствием позволила себя загипнотизировать вместе с остальными.

На пантомиму уходили вторник и пятница. В остальные дни мы редко проводили время до ужина вместе: Антон занимался своим ушу, а я убегала на курсы английского в первый гуманитарный корпус. Уже за первую неделю учебы я поняла, что нежно люблю этот казавшийся мне в школе изуверски сложным язык – учебы на курсах, строго говоря, не было никакой. Преподаватель, студент-старшекурсник, успевший утомиться от грамматики, фонетики и морфологии, вместе взятых, не задавал нам бестактных вопросов о том, чем время Past Indefinite отличается от времени Present Perfect. Взамен он дал каждому из нас английское имя (я стала Гвендолин в честь героини популярного тогда эротического фильма) и призвал отныне чувствовать себя лордами и леди. Мы должны были вести светские беседы на тему «Мой замок и его окрестности», «Моя последняя поездка в Европу» или «Званный ужин у графа Д.». Вся прелесть таких бесед заключалась в том, что их не возбранялось частично вести по-русски (чтобы мы не чувствовали языкового барьера). В конце занятий наш наставник Володя (сэр Волтер) обычно зачитывал нам анекдоты из сборника американского военного юмора и щедро комментировал неуставную лексику.

Около семи мы снова встречались с Антоном. Для меня это была самая волнующая, но и самая грустная часть дня: после чая с бутербродами он обычно уезжал домой – заниматься. Конечно, я оставалась не одна: теперь вокруг меня всюю жила студенческая братия, и всегда нашелся бы человек, вместе с кем я могла бы посидеть, послушать музыку, поболтать по душам, сбегать на дискотеку в один из громадных университетских холлов или спуститься в кинозал, которым становилась вечерами одна из поточных аудиторий. Могло случиться и так, что потом я ввалилась бы обратно в комнату полумертвая от веселья, маша на прощание рукой каким-то новым знакомым, однако... Однако, ложась в постель, я снова чувствовала, что папа оставил меня на ночь в суточной группе детского сада.

Чтобы успокоиться и заснуть, я представляла себе, как будет хорошо, когда он заберет меня домой на выходные. В субботу Антон заходил за мной около двух (все утро он проводил здесь же, в университетском городке, – на беговой дорожке и в тренажерном зале). После занятий спортом у него всегда был неправдоподобно здоровый вид, а глаза – как у веселой собаки, которой не залетает в голову ни единая мысль о вечном. У меня он принимал душ и переодевался в цивильную одежду, приехавшую вместе с ним в спортивной сумке. Когда он выходил из ванной комнаты в белой футболке с розовым и свежим от воды лицом, взъерошивая полотенцем влажные волосы, у меня всегда мелькала мысль о том, что сейчас мне явился первый на земле, только что сотворенный Богом человек. Еще не высохла глина, из которой его слепили, и он совершенен – этот самый первый, выставочный экземпляр человеческой породы, вышедший из еще не успевших утомиться рук Творца. В эту минуту мне всегда невыносимо хотелось прижаться к нему, чтобы стать с ним единой плотью – первой и единственной на земле женщиной.

Не могу точно объяснить, что мы делали до вечера: наверное, обедали в одной из университетских столовых, бродили по огромному парку Воробьевых гор, болтали так же легко, как делали шаги. Этими субботними прогулками я, как Робинзон Крузо – насечками на дереве, измеряла время. Сперва время пахло суховато – уставшим летом, затем я стала ощущать сентябрьскую мокрую свежесть и, наконец, октябрьскую холодную прель сброшенной на землю листвы. Ближе к вечеру мы выбирались обратно к цивилизации – поближе к метро. И, проходя через турникет, я каждый раз испытывала подсасывающее чувство возбуждения: вот сейчас меня опять затянет столичный водоворот. Он опустит меня в черную пещерку какого-нибудь новорожденного театра-студии, швырнет в приплясывающую толпу перед сценой, где играет нонконформистская группа, затащит в ночной клуб, куда мы, не будучи миллионерами, под поллой пронесем бутылку портвейна. Водоворот мог унести нас и на другой конец Москвы – на день рождения к друзьям Антона, и, возвращаясь из продуваемых всеми ветрами новостроек в свою «келью», я чувствовала, что попадаю в землю обетованную, побывав на краю света.

В келью мы, конечно же, заходили вдвоем. Это совместное возвращение домой ни разу не оказывалось для меня чем-то привычным, каждый раз, когда мы приближались к высоким кованым воротам, меня начинало подмигивать волнение: а что теперь? Антон же, безо всяких признаков душевной смуты, уверенно распахивал передо мной дверь в наш общий мир.

Дома, раздевшись, я всегда наполняла помятую алюминиевую кастрюльку водой и опускала туда кипятильник. Пока закипала вода и была необходимость расставлять на столе стаканы, заварку, сахар и печенье, у нас с Антоном находилось еще одно невинное общее дело, последнее за этот день. Потом предстояло вместе распивать дымящийся чай и, отогреваясь за разговором, забывая о холодных объятиях ноября. Но иногда, подбрасывая себе в кровь адреналину, я задавалась вопросом: а что бы мы стали делать, если бы у меня вдруг однажды не оказалось чая?

За эту осень у нас с Антоном сложились довольно занятные отношения. Мы, несомненно, были друзьями, но, если можно так выразиться, «друзьями в ожидании». В ожидании чего-то большего. Видимо, мы оба чувствовали, что «нечто большее» не стоит форсировать, но Антон проявлял удивительную (на мой взгляд) сдержанность. При этом он был человеком чувственным и постоянно поддерживал между нами близость множеством мелких повседневных прикосновений. Он всегда целовал меня при встрече и прощании, и всегда – в губы; на прогулках мы постоянно держались за руки; он обязательно трогал меня за плечо, чтобы привлечь мое внимание, и шутливо гладил по голове, чтобы утешить. Мы постоянно касались друг друга на репетициях в студии пантомимы, а в общественных местах сидели, переплетя пальцы. Когда при этом мы были еще и в темноте – где-нибудь в зрительном зале, – он часто клал мне руку на основание шеи и поглаживал ее, пропуская пальцы под корни волос. Меня бесконечно радо-

вала эта потребность исподтишка проявлять свою нежность на людях. Но когда мы оказывались наедине в моей комнате, между нами каждый раз повисал безмолвный знак вопроса.

Однажды мне показалось, что этот вопросительный знак наконец-то рухнет. Это было в начале декабря, когда зима уже разошлась, побелела, распушилась и стала по-настоящему красивой. Мы провели вместе один из особенно удачных выходных: посмотрели отличный музыкальный спектакль, мелодии которого так и кружились в голове, а после него долго носились друг за другом по раскатанным везде на улицах ледовым дорожкам. Однако мы не сумели расплескать и половины своей энергии – по приходе домой я не бросилась, как обычно, заваривать чай, а стала, приплясывая, носиться по комнате, воспроизводя увиденный в спектакле танец. Антон со смехом составил мне компанию. В какой-то момент мы не сумели рассчитать движения в крохотном пространстве, вместе налетели на угол кровати и вместе шлепнулись на пол, причем Антон оказался поверх меня.

Думаю, если бы он хотел, то смог бы устоять на ногах. Но игра была уж слишком хороша. Пару мгновений мы медлили: я вызывающе улыбалась, Антон переживал внутреннюю борьбу. Через пару секунд он придвинулся ко мне. Не переставая улыбаться, я прикрыла глаза и приоткрыла губы. Еще пару секунд ничего не происходило: видимо, внутренняя борьба приняла затяжной характер. Затем он все-таки поцеловал меня, но так осторожно, что я сразу поняла: победу во внутренней борьбе одержала не та сторона.

– Хочешь, я сделаю тебе массаж? – спросил Антон. Голос его звучал довольно мучительно.

Массаж закончился просто окончанием массажа. Правда, особого разочарования я не почувствовала: в теле появилось изумительное ощущение тепла и неги. Антон поработал над мной настолько истово, как мог это сделать лишь человек, занимающийся сублимацией. Сразу же после окончания массажа я начала засыпать – настолько расслаблено было тело. Я не успела ни поблагодарить массажиста, ни принять более привычную для сна позу – отключилась от действительности, лежа на животе, и утром обнаружила, что, уходя, Антон накинул на меня одеяло. На следующий день он, как всегда, зашел ко мне в обеденное время. При виде друг друга мы искренне рассмеялись, и я поняла, что дружба продолжается, но вопросительный знак остается висеть.

Примерно через неделю после этого я возвращалась домой в непривычном для себя одиночестве. Я впервые решила заглянуть в университетскую литературную студию, а Антон не очень жаловал литературу. Вернее, он воспринимал ее только в двух ипостасях: учебники (в ночь перед сдачей экзамена) и философские трактаты по дзен-буддизму (во все остальное время). Так что по дороге к литераторам и обратно у меня не было другого собеседника, кроме самой себя. Этому собеседнику я и задала, выходя из студии, единственный возникший у меня в голове вопрос: возможно ли, чтобы жизнь была так бесконечно замечательна?

Этот вопрос периодически всплывал у меня в голове и раньше, но сегодняшний литературный вечер заставил меня всерьез задуматься о нереальности моего счастья. С того момента, как я поселилась в доме-святилище на Воробьевых горах, каждый приходящий день был совершенно очевидно прекраснее предыдущего, но только сегодня я поняла, в чем состоит моя настоящая удача. Я воочию увидела, насколько высок тот интеллектуальный дух, что пронизывает университет от его подземелий до самого шпиля. Я почувствовала, на какую высоту может подняться вдохнувший его человек.

В литературной студии (а размещалась она в старом здании университета и была таинственным подвальчиком с низкими сводами) выступала преподавательница с исторического факультета, идеально подпадавшая под определение «серая мышка»: маленькая и шупленькая, одетая вне моды и времени года во что-то блеклое и несуразное, с классическими очками на носу и волосами, явно боявшимися визитов к парикмахеру. Судя по всему, «мышка» была еще

и бедна, как церковная крыса, но не придавала этому никакого значения. Она писала исторические хроники. В стихах. Она описала все Средневековье и все Возрождение. Когда «мышка» говорила перед выступлением, ее почти невозможно было расслышать, но когда она начала читать, ею невозможно было не заслушаться, как невозможно было и вспомнить, какое тысячелетие стоит на дворе. Если бы сразу после чтения меня спросили, где я провела сегодняшний вечер, я бы с чистой совестью ответила, что стояла во главе отряда крестоносцев под стенами Иерусалима.

Я вышла на свет – в блестящий столичный вечер, – продолжая скакать в потемках на коне и искать по городам и весям плененного британского короля Ричарда Львиное Сердце. Одновременно я чувствовала, что никогда не смогу покинуть университетские стены, вдохновляющие людей разрывать границы реальности и проживать сотни жизней взамен одной. А ведь я еще даже не была студенткой и не могла прочувствовать университетский дух сполна!

Вот тогда я всерьез и задалась вопросом о бесконечном великолепии жизни. А какой восхитительной она обещает стать через год, когда я поступлю! Я буду полноправной участницей студенческой жизни, на равных смогу обсуждать с друзьями по общежитию лекции и семинары и в полночь перед сдачей экзамена раскрывать зачетку и распахивать окно с криком: «Халява, приди!» Тогда же у меня наконец появится прочный фундамент для жизни в стенах МГУ, а не те птичьи права, которые непонятно как обеспечил мне Антон.

Неопределенность и лживость моего положения не то чтобы сильно мучили меня, но постоянно давали о себе знать, как незалеченные зубы на холоде. Обычно эти зубы начинало ломить, когда я звонила домой в Пятигорск с отчетом о своей жизни. Мама всегда обижалась на то, что я ничего не рассказываю о студенческих буднях, отделяясь общими фразами... Еще один приступ зубной боли всегда случался на почте, когда я получала присланные мамой деньги. Однажды в октябре, когда развеялся угар первых проведенных в Москве месяцев, я прикинула, какой процент от маминой зарплаты составляет материальная поддержка меня. Через час после этого, встретившись с Антоном, я тут же спросила: не знает ли он, где можно подработать?

Вопрос о подработке снял бы и другую проблему: что мне делать по утрам? Предполагалось, что я буду готовиться к поступлению, но, честное слово, я не представляла, как это делается. Я пыталась перечитывать учебники, но чувствовала, что знания сыплются в голову совершенно бессистемно. Тогда в расписании первого курса журфака я начала выискивать лекции, которые могли быть мне полезны, и стала ходить на них вольнослушателем. Но эффект оказался еще слабее: я была непривычна к лекционной системе обучения, когда преподаватель растекается мыслию по древу, а студенту приходится собирать эти мысли воедино. Я не понимала, когда и что записывать, терялась и отчаивалась. Единственным, как мне казалось, верным шагом на пути к подготовке была купленная на книжном развале брошюра под названием «Сто лучших экзаменационных сочинений». Каждое утро я старалась добросовестно заучивать по сочинению из этой брошюрки, не подозревая о том, что экзаменаторы опознают такие фальшивки по первой же паре строк.

Теперь я с воодушевлением думала о работе как способе занять утреннее время. Финансовый вопрос, как ни странно, не стоял для меня остро: я вполне укладывалась в скромный мамин бюджет. Новой одежды я не покупала, нося привезенное из дома, а на еде не то чтобы экономила... просто я была довольно непривередлива и не отличалась аппетитом. При этом я не чувствовала себя в чем-то обделенной или выглядящей недостаточно хорошо: на моей фигуре прекрасно сидели самые примитивные и дешевые вещи, если они были в обтяжку. За все мои развлечения платил Антон, он же всегда угощал меня в студенческой столовой. Единственное, в чем я была слегка ущемлена, так это в возможности покупать все приглянувшиеся книги.

Антон заверил меня, что найти подработку не труднее, чем таракана в столовой, – надо только раскрыть глаза. Это действительно оказалось несложно: первое в жизни рабочее место

было предложено мне буквально через пару дней после начала поисков; по иронии судьбы, таким местом оказалась университетская библиотека. Одна из девушек-вечерниц, не испытывавшая потребности в деньгах и работавшая только потому, что того требовали правила вечернего обучения, с радостью согласилась, чтобы я заменила ее на рабочем месте. Администрация закрыла глаза на то, что одна из сотрудниц вдруг резко изменила внешность (библиотеке фатально не хватало кадров), и меня отправили выдавать студентам книги в читальном зале.

Через пару недель я взвыла. Думая о работе, я как-то не представляла себе, что зарплата может быть такой несуразно маленькой. Деньги, которые я получила на руки, были даже не смешными – это просто не было деньгами. Сама же работа напоминала мне строки в учебнике истории об использовании детского труда на первых капиталистических мануфактурах. Я получала от студентов листочки (с обязательно неразборчивым почерком!) и бежала искать на полках книги под нужным шифром. Необходимые студиязусу книги непременно оказывались разбросанными по разным концам хранилища, и числом их было не менее пяти, а когда я, проклиная человеческую жажду знаний, дотаскивала эту ношу до стойки, заказчик меланхолично пролистывал том за томом, откладывал их в сторону и говорил: «Знаете, я, пожалуй, возьму вот это» – и указывал на самую тоненькую брошюрку. В такие минуты я вспоминала маму, мирно сидящую за своим столиком, в то время как читатели сами пасутся меж книжных полок, и думала о том, что бывают же на свете счастливые люди.

К тому же работа часто заканчивалась куда позже, чем начинались занятия в студии пантомимы, и через две недели я сбежала из библиотеки, которая когда-то казалась мне лучшим местом на земле. Сбежала я в направлении киоска с канцелярскими товарами – там искали продавца. На новом месте меня устраивало только то, что киоск находился все в тех же стенах МГУ и закрывался до четырех часов вечера, а стало быть, вторая половина дня была всецело моей. В остальном же новая служба вызывала во мне примерно то же чувство, что и остывшая овсянка в детском саду. Стоимость проданных мной товаров никогда не сходилась с количеством полученных денег, а проведенное за прилавком время никогда не сходилось с моими представлениями о достойном времяпрепровождении. (На мой взгляд, не существовало более тупого занятия, чем обмен мелких купюр на шариковые ручки и блокноты.) Более или менее неплохую зарплату я не могла отнести к плюсам: столькими часами убитого времени мне приходилось за нее расплачиваться. Ровно через месяц, когда потерянное время было в итоге оплачено, я выскочила из киоска, как белка из колеса.

Следующий этап трудового пути оставил у меня относительно светлые воспоминания. Через своих знакомых по общежитию я выяснила, что некоему студенту-москвичу, всерьез ушедшему в бизнес, но не имеющему своего офиса, требуется некто вроде мальчика на побегушках: набрать на компьютере текст; сбежать на почту и, отстояв очередь, отправить факс; обзвонить каких-нибудь людей и назначить встречи... Немного побыв в роли мальчика, я сделала вывод, что новая работа не добавляет в мою жизнь ложку дегтя, скорее, служит хорошей основой для меда. Рабочие часы не приходилось отсиживать – время, проведенное за делами, зависело лишь от скорости выполнения дел... К тому же я с интересом училась работать на компьютере, с которым доселе была знакома лишь по голливудским фильмам. К середине декабря я позвонила домой и гордо сообщила маме, что мое денежное содержание можно значительно урезать – мне повысили стипендию.

– Доченька! (Мамин голос, как и всегда в минуты волнения, вышел за рамки ее голосовых связок.) Доченька, ты шагаешь в гору! Только не останавливайся на достигнутом! Вершина еще далеко.

Я положила трубку, едва не смеясь (в лифте были люди). Вершина? Пока что я не метила в альпинисты. Да, когда-нибудь будет и вершина. Но пока что я иду по цветущей горной долине вдоль шаловливой реки, меня обнимает любимый человек и я, прикрыв глаза от счастья, едва различаю вокруг недостижимо прекрасные пики.

IV

– И ты понимаешь, этот подонок еще и не дает мне денег на аборт!

– А что он говорит?

– Говорит, что вдруг не от него... А как может быть не от него, если у меня уже три месяца никого, кроме него, не было?! Нет, ну ты представляешь?

Нет, я не представляла. Я старалась со всем возможным сочувствием смотреть на изливающую мне душу соседку, но искренне проникнуться ее проблемами не могла. Взамен я попробовала участливо поддержать беседу:

– И что ты теперь собираешься делать?

– Что? Деньги буду собирать по всей общаге. Врач сказал, еще недели две с этим можно потянуть.

Лена злобно раздавила в пепельнице окурок и, разом обрубая разговор, поднялась на ноги.

– Ладно, пойду – мне завтра к первой паре вставать.

Провожая ее до дверей, я заметила, что у меня уже переполнилось мусорное ведро, и пошла его выносить. Мусоропровод находился на кухне; как и обычно, он был забит: металлическая дверца беспомощно отвалилась вниз, позволяя всем отходам студенческой жизнедеятельности сыпаться на пол. Даже не вздохнув от огорчения, я привычно развернулась и пошла избавляться от мусора этажом выше.

За время жизни в общаге я успела привыкнуть к такому перманентному состоянию мусоропровода, как успела привыкнуть в общем-то ко всему: к неправильному питанию, неустроенному быту и периодическим рейдам пожарной охраны, во время которых приходилось спешно прятать плитку. Не могла привыкнуть я только к одному: к тому, насколько бездумно обитатели дома юности относились к своей и чужой жизни. Особенно к вопросу деторождения.

Хотя, если честно, у меня в голове не было никакой определенной модели того, что должно делать мужчине и женщине, если между ними встает тень ребенка. Еще более честно: я вообще не знала о том, что такое дети, – лишь могла их идентифицировать по внешнему облику.

Дома мне неоткуда было черпать знания о детях: у меня не было младших братьев и сестер и почти что все мои школьные друзья были единственными детьми. Закономерности возникновения и развития семьи я представляла себе примерно так: девочка должна учиться. Сначала – закончить школу, потом – институт. На последнем курсе перед распределением хорошо бы выйти замуж, но в принципе с этим можно повременить. Главное после института – это получить распределение в хорошее место и начинать расти как специалист. Вот на этом этапе уже хорошо бы всерьез задуматься о замужестве, потому что на старых дев общество всегда смотрит с пренебрежением. Однако при этом никогда не надо бояться развестись. Главное в жизни – это хорошая специальность, достойное место работы и уважение коллег.

На каком из этапов в эту четкую схему должны были вписаться дети, я не представляла. Мама никогда не поднимала этой темы, хотя обо всех остальных обстоятельствах ее жизни я знала довольно подробно. Мама была родом из Новгорода и окончила социологический факультет Ленинградского университета. На последнем курсе она совершила большую ошибку, выйдя замуж за моего папу, которому не захотелось оставаться в Новгороде, где маме было предложено хорошее место. В продолжение своей ошибки мама пошла по традиционному женскому пути – уехать за любимым на край света (в Пятигорск). Здесь судьба впервые напомнила ей о том, насколько далеко на пути заблуждения она зашла – для нее, красnodипломницы, не оказалось работы по специальности (город был далек от гуманитарных наук и жил в основном обслуживанием отдыхающих). Года через полтора (похоже, что в это время успела

родиться и дорасти до какого-то возраста я) мама опомнилась и решила взять свою судьбу в свои же руки: она устроилась в центральную городскую библиотеку, где довольно скоро стала заведующей. А поскольку зарплата заведующей позволяла ей (вкупе с алиментами) достойно содержать ребенка, мама немедленно развелась с папой и со свекровью. С тех пор мама жила почти что счастливо. То, что счастье ее не было полным, она осознавала тогда, когда летом в наш город приезжали отдыхать две ее подруги-однокурсницы. Обе они, хотя и были провинциалками, смогли удержаться в Ленинграде, и сейчас одна из них возглавляла целый отдел в НИИ, а другая вела какие-то социологические исследования на всех ведущих ленинградских предприятиях. Когда обе эти женщины приходили к нам в гости и за чаепитием рассказывали о своей работе, мама слушала их так, как верующие слушают рассказ священника о рае до грехопадения.

Однако я считала, что и о себе мама тоже может рассказывать с гордостью. Ее библиотека была настоящим культурным центром города. Едва заняв руководящую должность, мама начала организовывать при библиотеке всевозможные детские, подростковые и взрослые клубы. Мама часто рисковала: к ней ходили вечерами со всего города, чтобы послушать какого-нибудь полуплеганального поэта, в ее библиотеке обменивались самиздатовской литературой, под ее взглядом сквозь пальцы шли дискуссии о том, о чем дискутировать было не принято. Верхом ее героизма я считала то, что мама сама работала в читальном зале, чтобы на освободившуюся ставку устроить писателя-диссидента, который считал, что писать неиздаваемые книги – это и значит работать, но которому не хотелось разделять лавры Бродского, севшего за тунелство. Так что более социально активного человека, чем мама, я не могла и даже не смела себе представлять. В свете ее жизни моя собственная вырисовывалась мне предельно ясно: такой же успех в любимом деле. Правда, свою жизнь я хотела бы провести не на почетно-одиокой скале вожака стаи, а рядом с Антоном...

Я заметила, что так и стою возле мусоропровода, в задумчивости раскачивая туда-сюда опустошенное мусорное ведро. Едва я подумала об Антоне, мне захотелось к нему прижаться и вдохнуть его запах. Но похоже, что именно с этого места и начинаются проблемы, иначе те мои знакомые девушки, что встречались с мужчинами, всегда ходили бы со счастливым спокойным лицом и никогда не сыпали бы злобными словами, давая в пепельнице окурки. Между ними и их возлюбленными почему-то всегда норовил вклиниться ребенок.

Я опять-таки не понимала, почему это происходит: ведь мы живем в конце двадцатого века, и человечество вроде бы научилось предохраняться от беременности. Однако, как мне объяснили, от таблеток полнеют, «да и вообще это вредно»; внутриматочную спираль наши врачи не ставят нерожавшим; а с презервативом «тебе неприятно, а он вообще ничего не чувствует». Из этого замкнутого круга, как считали наши девушки, можно было вырваться лишь одним способом: изгнав ребенка, как злого духа. Я предпочитала наскоро им поверить, чем самой о *таком* задумываться.

Мы с ведром наконец-то вернулись к себе в комнату, я разделась и легла в постель. Немного погодя я вытащила из-под головы подушку, положила ее под одеяло и крепко обняла. Я представляла, что прижимаю к себе Антона.

В середине декабря в университете был праздник, кажется, день какого-то факультета. Его предполагалось отмечать на сцене Дома культуры, и нашу студию пантомимы пригласили в нем поучаствовать. Мы воодушевленно готовили номер, правда, Антон в нем принимать участия не мог – шла сессия, и он вовсю боролся с зачетами. Однако посмотреть на выступление он пришел, и не зря. Руководитель, обкурившийся больше, чем обычно, создал нечто неопишимо зрелищное; крутясь и извиваясь под дикий ритм, мы чувствовали себя настоящими чертями на шабаше и раскланивались под громовые аплодисменты вкупе с восторженным улю-

люканьем. (Боюсь, что именно после этого номера наркоманские пристрастия руководителя стали очевидны для администрации, потому что нашего гуру скоро сняли.)

Антон пришел нас поздравить с успехом прямо за кулисы. Я еще не успела выйти из роли и с торжествующим воплем прыгнула на него, крепко обхватив ногами на уровне пояса. Прыжок был неожиданным, но Антон устоял, не пошатнувшись, и друзья-актеры стали аплодировать и улюлюкать нам так же, как это делали зрители. Я успела взлететь к самым вершинам восторга и даже не заметила, как Антон унес меня в гримерную, чтобы снять сценический костюм. Кажется, потом мы, выступавшие (плюс Антон), всей толпой шли по коридору в чью-то комнату – отмечать успех. Но реально я начала осознавать происходящее лишь тогда, когда мы с Антоном, отделившись от компании, сели на кровати за спинами у всех остальных (объединившихся вокруг стола). Теснота заставляла нас так сильно прижиматься друг к другу, что следующим шагом было бы лишь слиться в одно целое. Из-за сессии мы уже несколько дней не виделись, но мне казалось, что мы не виделись от сотворения мира. Народ что-то громко обсуждал, громыхал хохотом, наполнял бокалы... Мне за весь вечер было достаточно одного – ощущения нашей с Антоном близости. Даже не помню, о чем мы говорили, лишь под конец Антон заговорил о самом главном в тот вечер.

– Слушай, – протянул он со своей обычной «кошачьей» интонацией, поглаживая пальцами мою шею, – как ты относишься к горным лыжам?

– Я к ним не отношусь! – машинально засмеялась я, вспоминая фразу из анекдота.

– А если серьезно?

– Наверное, это здорово.

– Ты у нас смелая, тебе должно понравиться.

– Мне заранее нравится! – с улыбкой пообещала я, потираясь лицом о его щеку.

– Тогда на мои зимние каникулы мы едем в горы – кататься на лыжах.

Я как будто протрезвела, хотя почти ничего не пила.

– А сколько это стоит?

– Не важно, я приглашаю.

Я знала, что Антон нигде не подрабатывает.

– У тебя что, богатые родители?

– Папа работает в наших посольствах за границей. Он торгпред.

– А мама?! – с ужасом спросила я, ожидая услышать, что она не меньше, чем премьер-министр Великобритании. Но Антон неопределенно пожал плечами:

– Мама сейчас занимается домом, хозяйством там всяким.

Для меня неожиданно прояснился довольно болезненный вопрос о том, почему Антон никогда не приглашал меня к себе домой: дом был в маминых руках.

– А *она* не будет против, если мы поедем вместе?

– Она и не узнает. Они с отцом недавно уехали в Австрию, в долгосрочку. А денег мне присылают столько, что хватает за глаза – почему бы не поделиться с хорошим человеком?

– А это хорошо? – спросила я настолько по-ребячьи, что мне самой стало смешно.

– А что в этом плохого? – промурлыкал Антон, целуя меня при этом в краешек уха.

И, как и тогда, когда он уговаривал меня не обращать внимания на взгляды комендантши, я разом расслабилась. Действительно, если мальчик и девочка вместе поедут кататься на лыжах, что в этом будет крамольного, даже на самый строгий материнский взгляд?

V

От города Минеральные Воды до горнолыжной базы у подножия горы Чегет было два часа езды. Минут через сорок мерного хода автобуса Антон уснул, прислонившись головой к оконному стеклу; во сне у него было до смешного сосредоточенное лицо.

Спящего, я взяла его за руку и переплела наши пальцы. Я чувствовала себя так, словно была сосудом, до краев наполненным нектаром и амброзией и стояла на пиршественном столе в зале, где пировали боги. Во мне умещалось все возможное в мире счастье, и Вселенная вращалась вокруг меня.

Автобус шел по удивительно ровной дороге среди бесконечных фруктовых садов. Это были упорядоченные ряды невысоких раскидистых деревьев, одинаково голых, с мокро блестящей корой. Теплая южная зима – нигде ни единой снежинки, лишь пожухшая трава устало легла на землю и воздух густо пропитан влагой, превращавшейся на отдалении в тусклую дымку. Только на поворотах становилась видна истинная цель нашего пути: на блеклый и тихий пейзаж резко наступали устрашающе прекрасные отроги скал.

Мне захотелось разбудить Антона и показать ему, к какой красоте мы приближаемся, но я не могла решиться. Что он скажет, когда полусонный взгляд станет осмысленным? «Дай поспать, я это видел уже сто раз!», «Да, видок – что надо, дальше будет еще круче!», «Ну, красиво, а дальше что?» Мне хотелось рассчитывать на второй вариант ответа, но первый и третий тоже нельзя было исключать, и ни в одном из трех я не была уверена наверняка. Это было странно: мы с Антоном были знакомы уже целых полгода, а когда знаешь человека так давно, то он кажется изученным вдоль и поперек со всеми своими привычными словами и отношением к вещам. Но я действительно не могла спрогнозировать его реакцию, и от волнения нектар и амброзия начали выплескиваться из потревоженного сосуда: вдруг я по ошибке держу за руку просто случайного попутчика?

Пока напиток богов не расплескался до капли, я постаралась укрепить свои позиции доводами рассудка. Да почему «случайный попутчик»? Я его знаю так же хорошо, как все входы, выходы и переходы между корпусами в главном здании МГУ. Я знаю, что он учится на геологическом факультете (кажется, 4-й курс), живет возле метро «Динамо» (ни разу там не была), родители его – дипломатические работники (об этом я узнала недавно), он увлекается ушу и пантомимой... А что еще? Не могла же я больше ничего о нем не знать – ведь мы без конца разговариваем! О чем же мы разговариваем, если я больше ничего о нем не знаю?

Мы с Антоном действительно без конца болтали, и мне очень легко говорилось в его присутствии. И с интересом слушалось. Антон довольно часто излагал мне восточную философию, которая была отражена в его любимом ушу, от раза к разу он смешил меня рассказами об однокурсниках, и существенную часть разговоров занимали его путешествия. Мы постоянно обсуждали мои дела и мои проблемы (причем он всегда был внимательным слушателем и ценным советчиком). Мы даже спорили о событиях в стране. Но я не помню, чтобы во всех этих разговорах Антон касался себя: я не смогла бы ответить, какие огорчения и радости он пережил, какие одержал победы и потерпел поражения, что способно ранить его в самое сердце, а что – лишь оцарапать, что он в людях ценит, а что – ненавидит. В ответ на вопрос: «Какой он?» – я смогла бы лишь пробормотать, что он спокойный, улыбчивый, сильный и сейчас он везет меня кататься на горных лыжах.

Мы въехали в горную долину. Один из пиков заслонил от меня солнце, став при этом какого-то невероятного непроницаемого цвета, это был даже не черный, а цвет самой тьмы, никогда доселе мной не виданный. Наверное, от ужаса и восхищения я слишком сильно жала Антонову руку, потому что он открыл глаза. Они не были полусонными – распахнулись широко

и сразу; его светлые, почти не заметные на лице брови вдруг показались мне трогательными – так взволнованно они приподнялись при виде гор.

– Ты веришь, что у каждой горы своя душа? – спросил Антон.

И я поверила в то, что я его не знаю.

Когда мы наконец сбросили на пол рюкзаки в своей комнате на турбазе, я была взбудоражена не меньше, чем если бы только что на бешеной скорости прошла большой слалом. Наверное, за всю свою жизнь я не совершала в душе столько крутых виражей, сколько за этот день.

Во-первых, мы едва не проспали свою станцию и спешно впрыгивали в одежду полуголыми – впервые друг при друге; это был новый виток нашей близости. Во-вторых, проезжая по горной долине, мы узнали, что незадолго до нашего приезда сошло небывалое количество лавин, засыпавших автобус с туристами и разрушивших научно-исследовательскую станцию. Погибло около десятка человек, и следы, оставленные стихией, заставляли холодеть: несколько попавшихся по дороге домов были буквально разрезаны пополам, словно смерть равнодушно откромсала себе кусок, поленившись взять второй; от ударной волны полегли деревья до середины склона противоположной стороны долины. Глядя на все это, мы мучительно крепко сцепили руки и словно дали безмолвное обещание всегда держаться друг друга в случае беды. В-третьих, по приезде на турбазу выяснилось, что двухместных номеров ограниченное количество и дают их только семейным. В ответ на это я увидела, как Антон, протягивая регистраторше наши паспорта, вложил в один из них двадцатидолларовую бумажку, после чего нас, разумеется, поселили вместе. В первый раз за время общения с Антоном я испытала из-за него унижение, но почему-то приятное – словно меня купили по дорогой цене.

– Вот, – неопределенно сказал Антон, расправляя плечи после рюкзака и окидывая взглядом нашу комнату.

На меня он не смотрел – мне почему-то показалось, что от смущения.

* * *

Я уснула в девять часов вечера, едва ощутив под головой подушку. Это противоречило всем моим представлениям о себе – обычно сон давался мне нелегко. Перед тем как задремать, я всегда прокручивала в голове события дня, и если они не были слишком приятными, забыться удавалось не раньше, чем через час. А перед экзаменами в школе со мной пару раз даже случалась бессонница. В горах же я засыпала так стремительно, словно сон весь день подкарауливал меня и, наконец-то дождавшись удобного момента, бил наповал. Впрочем, не только мой организм выкидывал в горах удивительные вещи: кого-то поражал кошмарный солнечный герпес, обметывавший всю нижнюю половину лица, у кого-то, наоборот, бесследно проходила астма, и едва ли не у всех женщин привычная цикличность давала сбои.

Я же обрела способность засыпать мертвым сном и потому в первый горнолыжный вечер даже не успела задуматься о том, как именно мы с Антоном будем сосуществовать в одной комнате. Утро тем более не дало мне об этом задуматься: проснувшись, я увидела в окно, как невысокие, на удивление косматые лошадки (очевидно, принадлежавшие местным жителям), встав на задние ноги, опираются передними о мусорные баки перед столовой и выуживают оттуда овощные объедки – точь-в-точь дворняги на наших помойках. Я поняла, что с приездом в горы попала в другое измерение (и потом ни разу в этом не усомнилась). Затем утро до предела оказалось заполнено подбором снаряжения и формированием групп, причем мы с Антоном вопреки моим надеждам попали в разные: я – к новичкам, а он – к бывалым. Бывалых сразу увезли кататься, а нас повели на учебную горку за турбазой, где на высоте пяти метров мы осваивали, как тормозить плугом, как приставлять при этом одну ногу к другой и как вычерчивать зигзаг, воткнув перед этим кривоватую лыжную палку в снег. После обеда, за которым мы, встретившись, едва успевали есть, захлеб сообщая друг другу о своих впечатле-

ниях, выяснилось, что в большом ангаре за турбазой можно поиграть в волейбол, баскетбол или настольный теннис, и группа Антона уже успела договориться о товарищеском матче. Я была среди болельщиков и, наблюдая за тем, как изогнувшийся в прыжке Антон посылает мяч через сетку, чувствовала и восхищение, и легкий стыд: неужели его физическое совершенство значит для меня не меньше, чем его душа?

Впору было вспоминать Заболоцкого: «А если так, то что есть красота,/И почему ее обожествляют люди?..» Но мне, похоже, выпала редкая удача – увидеть огонь мерцающим в прекрасном сосуде. Яркое от румянца лицо и горящие от оживления глаза, идеально пригнанные друг к другу, налитые силой мускулы и слова о том, что у каждой горы своя душа... Я не могла ошибиться: это был тот самый редкий случай, когда чудесный здоровый дух обитает в чудесно сложенном теле.

– Пятнадцать – двенадцать! – на прерывающемся дыхании объявил подошедший ко мне Антон; он вытирал лицо футболкой. – В нашу пользу, естественно.

Я упала на постель и заснула, едва мы зашли в свою комнату. Знак вопроса оставался висеть.

Следующий день сложился почти так же, как и первый, за тем исключением, что после обеда нам пришлось сходить в близлежащий поселок и купить у местных умелиц шерстяную шапочку для Антона (прежнюю он потерял на крутом вираже). За компанию он купил и мне приятный и пушистый (хотя, возможно, и простенький) серо-белый шерстяной свитер, в котором я показалась себе похожей на кролика. Поселок впечатлял своей непривычностью: дома круто спускались по склону горы, между ними бродили козы, оставляя бесконечные катышки помета, и резко чувствовался запах хлева. Хозяйки с непременно запрыганными под платок волосами, в одежде, не менявшей покроя с лермонтовских времен, выплескивали помои прямо на улицу. В том доме, куда мы зашли, на кухне не было плиты, лепешки пеклись в каком-то каменном чане. Пожалуй, единственной приметой двадцатого века было электричество. Я смотрела на женщин чуть ли не с испугом – до того неухоженно и прямо-таки дико они выглядели. Они были явно старше своих лет (я судила по возрасту носившихся рядом детей), они улыбались щербатым ртом, у них были жесткие потрескавшиеся ладони, они явно не видели в жизни ничего, кроме кухни и стирки. И у них было непривычно много детей, без конца дергавших мать за подол и чего-то кланчивших.

– Тяжело здесь вести хозяйство! – с искренним вздохом сказала я, выходя.

– Не надо рождаться женщиной! – пошутил Антон, и я не менее искренне засмеялась.

Вечером у нашей группы был вечер знакомства, и я засиделась почти до двенадцати, а придя, немедленно заснула, точно это была моя святая обязанность. Не знаю, что обо всем этом думал Антон, но утром он вел себя как всегда – с дружелюбным вниманием. Кстати, следующее утро стало для меня роковым – я взяла новую высоту.

Начиналось это утро преотвратно. После волнующего объявления инструктора о том, что мы наконец-то будем спускаться со склона Чегета, приятными были еще минут десять сладкого томления в автобусе. Однако едва мы оказались у вожаемого склона, мое волнение сменило знак «плюс» на «минус»: вся поверхность горы была почему-то в огромных снежных буграх. Правда, сыпавшиеся сверху лыжники уверенно лавировали между ними, но я немедленно ощутила резкий упадок сил. А когда инструктор велел нам лесенкой подняться до определенной высоты и пару раз спуститься для разминки, я неожиданно начала падать. До того я не падала ни разу и снисходительно смотрела на тех, кто, неуклюже повернув, садился на снег. Позже бывалые люди рассказали мне, что такая «ломка» – не редкость: существует так называемый синдром третьего дня, когда хорошо получавшееся два дня кряду новое упраж-

нение вдруг начинает упорно не даваться спортсмену на третий день, доводя его до отчаяния. Я дошла до своего отчаяния очень быстро, и тренер, видя мое состояние, не пустил меня на гору, в то время как вся остальная группа (даже падавшие раньше!) спокойно туда уехала.

Я стояла у подножия Чегета не шевелясь, словно меня пригвоздили к одной точке в пространстве, и тупо глядела на снежные бугры. Я была грешником, оставленным у райских врат, и меня ждало долгое чистилище спусков плугом с учебной горки. Я не держала зла на тренера, я его даже понимала: нет на горе ничего страшнее, чем падение духом; когда человеком овладевает испуг, тот уже не владеет собой и своими движениями. Но минут пятнадцать я все же простояла, запрокинув голову и останавливая слезы в глазах. Почувствовав, что они отступили, я снова полезла «лесенкой» на склон горы в попытке преодолеть себя, но тут началось такое, к чему я вообще не была готова: при каждом повороте у меня отстегивалась лыжа. После пятого падения я позорно взяла ее в руки и оставшиеся метры проехала на пятой точке, понимая, что качусь под гору в прямом и переносном смысле слова.

Встав на ноги, я попыталась вытереть сразу замокревшие глаза, но попала перчаткой по очкам; протереть же темное стекло не было никакой возможности – вся моя одежда была в снегу, а носового платка не имелось. Снять очки было бы пыткой – пронзительное высокогорное солнце позволяло смотреть лишь с мучительным прищуром.

Сквозь мокрые стекла я все же постаралась оглядеться вокруг. Метрах в ста стоял небольшой частный отельчик, где наверняка должны были иметься и прокат снаряжения, и необходимая мне сейчас мастерская. Волевым решением я сгребла в кучу все оставшиеся у меня силы, призвала на помощь светлый образ Алексея Маресьева, вспомнила о стойкости героев-молодогвардейцев и тронулась вперед с лыжами под мышкой.

Казалось бы, что такое пройти сто метров? Человек, никогда в жизни не надевавший горнолыжные ботинки, даже не поймет, в чем была проблема. Но любой горнолыжник мне сочувственно кивнет. При спуске с горы эти пластмассовые колодки даже не чувствуешь, настолько они становятся частью твоей ноги (ведь не чувствует же человек свои собственные кости!), но едва ты отстегиваешь лыжи, ботинки моментально превращаются в подобие гипса, делая шаг неимоверно тяжелым и уродливым. Я мучительно топала, подергиваясь и кренясь вперед (так обычно ходят роботы в ранних фантастических фильмах), а поверхность, по которой я шла, казалась настолько выпуклой и покатой, словно именно в этом месте и закруглялся земной шар.

Дойдя до лесенки, ведущей вниз в мастерскую, я благополучно с нее грохнулась: ступени были крутыми и оледеневшими (и то слава Богу, что их оказалось немного!). На шум из мастерской выскочил хозяин, стукнув меня резко открывшейся дверью. Он буквально втащил меня в помещение, извиняясь и приговаривая с характернейшим кавказским акцентом: «Э, девушка, что ж ты такой неловкий!»

– Я не неловкая! Это они!

Я, всхлипывая, пихнула лыжи носком ботинка. Наверное, со стороны я казалась ребенком, который ревет и колотит ногами шкаф, о который он ударился на бегу; но от отчаяния мне было все равно, что я в данный момент собой представляю.

Мастер невозмутимо взял обидевшие меня лыжи и, насвистывая, начал что-то подкручивать в креплениях. Не прерывая работы, он полез рукой под стойку и поставил передо мной стакан горячего чая и пакет с курабье.

– Кушай, пей! Худой совсем. Пятьдесят килограммов вешишь?

– Да.

– А почему на креплениях вес не тот установлен? Инструктор куда смотрит? Э...

Он отказался взять деньги и помог мне подняться по лестнице, держа меня под руки. Я выбралась на поверхность земли отогрешаясь, обретшая второе дыхание и полная таких

светлых чувств, что на обратном пути к горе даже не заметила, что несу на ногах пластмассовый гипс.

Вопрос о том, подниматься ли теперь на вершину, для меня даже не стоял: мысленно я эту вершину уже покорила, а запрет тренера придавал подъему еще и хулиганское очарование. Но все же, садясь на подъемник, я ощутила дрожь. В голове торопливо пульсировало: «Господи, куда же я?!» Оторвавшись от своей группы, я чувствовала себя страшно одиноко, а когда кресло подъемника оторвалось от земли и толпящиеся рядом люди исчезли, я поняла, что я одна во Вселенной (правда, рядом сидел человек, но совершенно незнакомый). С первых же минут подъема я затряслась еще и от холода – ветер стал пронизывающим.

Но красота вокруг была неопиcуемой. За два зимних месяца в Москве я вдоволь насмотрелась на заснеженные деревья и на восхитительный контраст белой земли и голубых горизонтов. Но я и представить себе не могла, что зимние краски могут быть такими пронзительными, что желтовато-коричневые стволы сосен могут буквально сиять, точно камень тигровый глаз, в то время как игольчатые лапы сияют малахитом. Небо, чуть припорошенное перистыми облаками, напомнило мне лазурит в любимой маминой брошке, и вообще, весь пейзаж со склоном горы казался выложенным из самоцветных камней.

Кресло шло довольно низко над землей – метра три-четыре (я даже боялась, не заденем ли мы верхушку очередной сосны). Но вдруг канатная дорога перевалила через отрог горы, и я увидела под собой пропасть. Одновременно и ветер стал смертельно-ледяным, так что я в считанные секунды застыла от страха. Я действительно была насквозь заморожена и холодом, и ужасом; я немедленно подумала о том, что сейчас у меня свалится лыжа (хотя ноги стояли на специальной приступочке), свалится и полетит на недостижимую белизну в сотнях метров подо мной, где едва различимы смехотворно-крошечные закорючки карликовых берез.

– Не смотрите вниз, – с улыбкой посоветовал мой сосед. – В первый раз поднимаетесь?

Он умело отвлек меня разговором, а когда беседа иссякла, пришло время пересаживаться на вторую очередь подъемника. Здесь мой страх наконец прошел: поверхность горы снова была всего метрах в пяти внизу. Я подрагивала от ветра и разглядывала казавшуюся почти отвесной вершину Чегета; по ней тоже вычерчивали зигзаги яркие силуэты. Есть же камикадзе, которые добираются и дотуда!

Сойдя с подъемника и отъехав в сторону, чтобы не мешать остальным, я огляделась в некоторой растерянности. Почти сразу же я почувствовала, что кто-то пристально смотрит мне в спину. Оборачиваясь, я наверняка знала, что этим кем-то будет мой тренер.

К слову о тренере. Он никоим образом не соответствовал тому типу мускулистых красавчиков, что играют горнолыжников в Голливуде: невысокий, жилистый, лицо заострено везде, где только позволяет анатомия, – на носу, на подбородке, на скулах. Но при взгляде на этого человека у вас не возникало даже вопросов о том, можно ли доверить ему свою жизнь: кому же еще довериться, как не ему?

– Та-ак... – начал тренер.

– Андрей Викторович! – сказала я настолько решительно, словно вместо меня говорил кто-то другой. – Я починила крепления – они не были отрегулированы под мой вес. Я спущусь совершенно спокойно, вот смотрите...

Я впервые воочию убедилась в том, что смелость города берет. Оседлав бугельный подъемник, тренер хмуро поехал за мной на вершину. Мы встали рядом, он – чуть ниже; затем тренер съехал метров на десять вниз, а я тут же спустилась за ним лихими зигзагами. Я без малейшей боязни разворачивала корпус вниз – к горе – и совершала ловкий виток вокруг палки. Высота словно перестала существовать: вот она, земля, под моими ногами, она лишь слегка наклонилась вниз.

Мы продолжали съезжать почти синхронно, и я не оплошала ни разу. Каждый мой поворот казался мне все более и более ловким (я видела все большую и большую благосклонность

на лице тренера). Я знала, что меня вдохновляет – память о бескорыстном мастере. Если он поставил меня на ноги и пообещал, что все будет в порядке, как после этого что-то может пойти наперекосяк?

Мы с тренером проехали всю третью и вторую очереди подъемника. Перед началом первой очереди мы зашли в стоявшее прямо на краю пропасти кафе. Я чувствовала себя так, как если бы совершила выход в открытый космос: я приобщила к чуду. И разве не такое же чудо – сидеть за стаканом умопомрачительного глинтвейна в компании обветренных, промороженных людей с причудливым очковым загаром на лицах, людей, что вскоре после нашего неспешного разговора будут закладывая молниеносно быстрые виражи на отчаянно-крутых склонах? Я чувствовала себя крутой до глубины души.

Всю первую очередь подъемника мы с тренером проехали в удивительном согласии и слаженности всех движений; мне даже показалось, что мы прошлись в своеобразном парном танце. Я чувствовала себя вдвойне прекрасно оттого, что меня уверенно ведет замечательный мужчина и что ведет он меня одну. Играючи объезжая бугры вслед за ним, я даже не заметила, что спуск закончился и мы тормозим перед последним отходящим на базу автобусом.

– Но в следующий раз смотри у меня, непослушная девчонка! – пригрозил тренер, пытаясь строгим голосом свести на нет мою победную улыбку.

И я навсегда сделала вывод о том, что Фортуна горой стоит за непослушных девчонок.

Когда я вбежала в столовую, Антон сидел в одиночестве перед давно опустевшей тарелкой и мрачно постукивал вилкой о стол. Рискую вызвать у него сердечный удар, я подлетела сзади, обхватила его за шею и, едва не визжа от восторга, начала рассказывать о своих приключениях. Я говорила как заведенная всю дорогу до нашей комнаты, я не давала Антону спокойно открыть дверь, показывая, как я ковыляла в горнолыжных ботинках. Плюхнувшись на кровать, я начала петь что-то застольное – видимо, мне запоздало ударил в голову глинтвейн.

Утомилась я, наверное, лишь через час. К тому времени Антон, посмеиваясь, стянул с меня сапоги и комбинезон – в эйфории от своих успехов я не была способна даже на такие элементарные действия. Затем он с улыбкой прилег рядом, подперев голову рукой, и добросовестно слушал меня, пока буря впечатлений немного не улеглась. Он вкрадчиво и уместно вставлял свои комментарии и подбадривал меня простыми, но жизненно важными для беседы вопросами: «А ты?», «А он?», «А что потом?», а я, крепко стиснув его руку и счастливо глядя ему в лицо, сыпала и сыпала словами.

Долго ли, коротко, рассказ закончился. Теперь мы просто лежали рядом и улыбались друг другу. На пару секунд Антон поднялся и зачем-то запер дверь, хотя к нам никто и никогда не заходил без приглашения. Чуть поразмыслив, он задернул и шторы и вновь опустился на кровать рядом со мной.

Мне казалось, я никогда еще не видела его в такой нерешительности. Он приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать, но сдержался и стал смотреть в сторону. Потом он с неожиданно покрасневшим лицом вновь перевел взгляд на меня.

Я ничего не могла понять. Я стала ободряюще гладить его по волосам, желая услышать так и не произнесенные слова. Тогда он осторожно притянул меня к себе.

Я почувствовала, как внизу живота зарождается уже знакомая мне жаркая парализующая волна. Тело напряглось с какой-то болезненной радостью; я даже перестала себя контролировать, завороченная своими ощущениями.

Антон по очереди стянул с нас обоих свитера и футболки. Неожиданно умелым движением он расстегнул мой лифчик и провел рукой по груди. Я почувствовала примерно то же, что и в первую секунду движения вниз на университетском скоростном лифте. А когда мгновение спустя мы соприкоснулись голыми телами, мне показалось, я с головой ушла в горячее, сладкое чувство и увязла в нем – словно оса в стоящем на плите варенье.

Когда на мне вообще не осталось одежды, я удивилась тому, что совсем не мерзну, хотя в комнате было прохладно. А наблюдая за тем, как Антон, лежа, освобождается от брюк, я вспомнила студию пантомимы – он так ловко и красиво выполнял сложное упражнение! Странно, но в голове не было ни одной другой мысли.

Теперь все было точно так же, как и десять минут назад: мы лежали рядом, улыбаясь друг другу в лицо, – правда, теперь мы были совершенно обнажены. Между нами снова на какое-то мгновение вспыхнул знак вопроса. Антон сжал мою руку, поднялся и, порывшись в сумке, смущенно протянул мне какую-то плоскую упаковку.

– Вот, выпей сначала...

– Что это?

– Это таблетки от детей.

Он волновался, и шутка не получилась – его губы некрасиво дернулись.

– Откуда это у тебя?

– Ну какая разница?..

– А это надежно?

– Да, конечно. Их пила... одна знакомая девчонка. И у нее все было нормально.

В голове тут же вспорхнула навеянная общежитием фраза: «От таблеток толстеют, и вообще это плохо».

– А может быть, лучше... (я никогда в жизни не произносила это слово вслух, и губы двигались неуверенно) *презерватив*?

– Тебе будет больно в первый раз. Это ведь в первый раз?

– Да...

Мне стало по-настоящему неловко и не хотелось продолжать этот разговор: он представлял собой такой неприятный контраст с восхитительными ощущениями тела. Я быстро выхватила у Антона упаковку, достала пластинку с таблетками с тем, чтобы немедленно проглотить одну из них, и растерялась: на пластинке была непонятная мне схема с цифрами и стрелками. Я смятенно развернула инструкцию.

– «Принимать по схеме, по одной таблетке в день, желательно в одно и то же время, начиная с первого дня менструального цикла». – Зачем-то я прочитала эти слова вслух и вопросительно подняла глаза на Антона. – С первого дня?

Он растерялся, похоже, и для него это было открытием.

– А у тебя какой?

– Ну... у меня один из последних.

– Да?! – Антон неожиданно обрадовался. – Тогда можно вообще безо всего обойтись.

– Почему?

– Потому что опасно только до середины цикла, ну и еще там пару дней, а если конец, то уже все можно.

Я не могла ни согласиться, ни возразить, тем более что возражать очень не хотелось. Видимо, Антон обладал каким-то пока недоступным мне высшим знанием, и следовало просто ему довериться. К чему вообще эти колебания? Я доверяла ему свою жизнь и раньше, и он ни разу не подвел меня.

Он вдруг обнял меня так, что едва не хрустнули кости, словно желая выдавить все остатки сомнений. Он поцеловал меня в плечо у основания шеи, и успевшая опасть горячая волна взметнулась, не оставляя в голове места ни для единой мысли. Так потрясаясь я себя не чувствовала никогда в жизни: мне казалось, что через меня пропускают мягкий электрический разряд, заставляя каждое нервное волокно самозабвенно натягиваться.

Из последних сил я заставила себя произвести короткий арифметический расчет. Согласно моей арифметике, до начала месячных оставалось дня три. Я поделилась этим с Антоном.

– Это подарок судьбы! – сказал он с таким искренним чувством, что последние вертевшиеся в голове сомнения (словно грязная вода, образовавшая воронку в ванне) разом ухнули в благословенную черную дыру.

«Удивительно!»

Странно, что это была первая мысль, вспыхнувшая в голове после того, как меня отпустило волнение. «Удивительно, что в один и тот же день я впервые поднялась на вершину горы и к незнакомым доселе вершинам ощущений». Победоносно развернувшись у подножия Чегета после спуска и оценив пройденный путь, я подумала, что нет ничего более восхитительного, чем покорять. Сейчас же я от всей души считала, что покоряться и вручать любимому человеку саму себя вместе со всем своим прошлым и будущим не менее прекрасно.

Было в тот вечер еще одно чувство, которое я испытала, пожалуй, впервые в жизни, – это чувство настоящей, идущей от самого сердца благодарности. Разумеется, мне было не в новинку говорить спасибо, но только тогда, когда Антон бережно отстранился от меня, лег рядом и прижал к себе мою голову, целуя волосы, я поняла, насколько я могу быть благодарна. Благодарна за внимание и крайнюю предупредительность, с которой он помог мне совершить этот важнейший шаг. Не менее благодарна я была и за «таблетки от детей» (хоть их и не пришлось пустить в дело) – столько раз я слышала о полном равнодушии мужчин к этим проблемам («им лишь бы получить удовольствие, а там – хоть трава не расти!»). Нет, что касается «мужского вопроса», судьба решительно встала на мою сторону!

Разумеется, я не могла не заметить, что в любви Антон действовал очень умело, как умело руководил и мной самой, но это только грело мне душу: как и в тот единственный вечер, проведенный с Ильей Семеновичем полтора года назад, я ощущала, что рядом со мной и мудрый отец, и нежный любовник. И воспоминание словно подхлестнуло меня, доводя до предела все чувства разом: я резко приподнялась, обхватила Антона за шею и прижала к себе изо всех сил, словно ребенок, боящийся, что у него отберут любимую игрушку.

– Ты что? – спросил он недоуменно и даже испуганно.

– Просто...

Просто я не могла объяснить, что теперь, кроме мамы и книг, у меня появилась еще и любовь.

VI

А все-таки Высоцкий был прав: «Лучше гор могут быть только горы...» Нет, лучше гор может быть только любовь – любовь в горах. Нет, вообще ничего на свете не может быть лучше погони друг за другом на лыжах по пушистым склонам Эльбруса, когда задыхаешься равно от восторга и от снежной пыли, фонтаном обдающей лицо. А когда, разогнавшись, ты замираешь на полусогнутых ногах и идешь по траверсу, огибая крутой выступ скалы и видя свой маршрут ровно на метр вперед, то ужас доводит тебя до экстаза; впору зажмуривать глаза и высохшими от волнения губами прищепывать: «Еще! Еще!» Горное солнце в этот момент кажется одним сплошным сиянием, заполнившим все пространство на твоём пути.

А горные звезды так просто нереальны. Когда вечерами мы гуляли по одной-единственной дороге, идущей через Баксанскую долину, мне казалось, что кто-то разложил перед нами на черном бархате россыпь крупнейших бриллиантов. Эти звезды были настолько яркие и настолько велики, что подняться на цыпочки и протянуть к небу руку за одной из них вовсе не было бы ребячеством. Самую крупную из звезд (Антон считал, что это был Юпитер) мы называли «фонарем» – она распространяла вокруг себя настоящее сияние.

Как ни странно, впервые я обратила внимание на звезды лишь на пятый день пребывания в горах: первые два вечера я проспала, третий и четвертый мы с Антоном провели, не отрываясь друг от друга, а на пятый впервые вышли погулять – словно отдышаться после долгого бега.

Было удивительно хорошо чувствовать свою полную, взаимопроникающую близость с другим человеком. Я была близка с мамой, но на общем пути по жизни я все время держалась где-то возле ее колен; я была близка с подругами, но это была близость людей, идущих в ногу. Близость с Антоном означала то, что я все время несу его в себе, словно внутренний камертон, на который теперь настроена моя жизнь.

На прогулке мы по-прежнему много говорили; главной темой теперь стала, конечно же, тема телесная. Но за полчаса до того, как на небе выступили звезды, мы потихоньку замолчали: видимо, нас обоих заворожило трагическое величие приближающейся ночи.

Прямо перед нами на гору садилось облако. Не опускалось, а именно садилось, бесформенное и усталое, словно бабушка в парке на скамейку. Воздух становился все более хмурым, обессилившее облако сползало все ниже по склону, а пронзивший его насквозь пик горы оставался все таким же ледяным и непреклонным и даже светлым от еще долетавших до него закатных лучей. Мы успели увидеть, как белая старушка осела чуть ли не до подножия, покрытая ледником вершина напоследок победно сверкнула и их обеих уничтожила наконец-то вошедшая в долину ночь.

Мне неожиданно стало горько от зрелища этой неравной борьбы и общей гибели; я потеснее прижалась к Антону, чтобы почувствовать его успокаивающую руку на плече и увериться, что я не одна во Вселенной.

Горная ночь оказалась на удивление яркой и торжественной. Когда звезды разгорелись по-настоящему, мы остановились, и Антон стал показывать и называть мне созвездия. У меня создалось впечатление, что он знает их все, как знает и имена самых ярких светил. Он указывал мне на двойные звезды, попеременно заслоняющие друг друга, рассказывал об остывающих белых карликах и агонизирующих красных гигантах, говорил о всепожирающих черных дырах величиной не больше камушка и задумчиво обмолвился о веющем во Вселенной солнечном ветре. Казалось, он повествует о живых существах, обитающих вокруг нас, и рассказ получался поистине колдовским, у меня по спине даже бежали мурашки.

– Ты что, занимался астрономией? – спросила я восхищенным полупшепотом.

– Да, несколько лет перед поступлением. Я вообще хотел учиться на физфаке – на отделении астрономии, но там набор только раз в пять лет.

– А почему ты не подождал?

Он усмехнулся:

– Потому что ждать пришлось бы в армии.

Объяснение было совершенно закономерным, но я никак не могла смириться с тем, что человек вот так взял, да и предал свою мечту.

– Но ты ведь мог бы поступить просто на физфак, а потом перевестись на астрономическое отделение.

Антон почему-то отвернулся, как будто он обращался не ко мне, а к темноте вокруг.

– Да не поступил бы я. У меня всегда с физикой было плохо, я только звезды любил... А у папы однокурсник – декан геофака.

Это был первый за время нашего знакомства с Антоном момент истины; он обнажил передо мной свой старый шрам, и я почувствовала, что это еще крепче привязало меня к нему.

Как это ни смешно, но в горах я впервые начала о нем что-то узнавать по-настоящему. Во время наших совместных спусков я успела убедиться в его смелости, но это было не бесшабашное лихачество, а смелость, если можно так выразиться, взвешенная и осторожная. Антон никогда не был настроен рисковать понапрасну, в то время как я представляла собой самый опасный, по классификации нашего тренера, тип горнолыжника – «храбрый чайник». Поэтому разумная сдержанность Антона вызывала во мне всяческое уважение – можно было не сомневаться в том, что этот человек затормозит вовремя.

Антон, в свою очередь, признавался, что его возбуждает иметь дело с сорвиголовой. В горах мы ни разу не испытали неудовольствия друг другом, за исключением лишь одного довольно странного случая...

Обычно мы спускались по восточному склону Чегета. Западный был совершенно непригоден для лыж, по северному рисковали съезжать лишь самые крутые профессионалы, а южный был временно закрыт. Дело в том, что своей южной стороной Чегет был обращен к другой горе, с которой вполне могла сойти лавина. На вершине этой горы образовалась так называемая доска: снег сверху подтаял, а затем смерзся, оставшись рыхлым внизу, и на эту смерзшуюся поверхность новые снегопады насыпали огромную шапку. В любой момент такая многотонная «доска» могла стронуться и рухнуть вниз, при этом ударная волна смела бы все живое на обращенной к ней стороне Чегета. Однако от завсегдатаев этих мест я многократно слышала, что южный склон гораздо красивее, интереснее, а главное, разнообразнее восточного. Эффект запретного плода не давал мне спокойно жить: каждый раз, проезжая мимо запретительной таблички с угрожающе-красными буквами, я с трудом заставляла себя не повернуть направо, туда, откуда роковая снежная «доска» была отчетливо видна. Через неделю борьбы с собой я все-таки сделала правый поворот.

Антон в это время был со мной, но я повернула, с ним не посоветовавшись, и сразу же исчезла за выступом скалы. Там я остановилась, поджидая, что он ко мне присоединится. Ждала я напрасно: Антон, не покидая восточной трассы, миновал разделивший нас скальный выступ и, стоя на отдалении, крикнул:

– Ты куда?

Я приложила палец к губам и показала вниз.

– Туда нельзя!

Я сделала отмахивающийся жест.

– Давай возвращайся!

Это было сказано довольно сурово, но я шаловливо затрясла головой и сделала еще несколько зигзагов вниз по девственному, неизъезженному снегу. Антон не тронулся с места, хмуро за мной наблюдая. Чтобы раззадорить его, я спустилась еще и снова остановилась, повернув к нему лицо и подзывая улыбкой. Он сердито махнул мне рукой, делая жест вернуться.

И тут я почувствовала, что, стоя на месте, еду вниз. Снежная поверхность плавно строилась подо мной, начиная неотвратимое движение к подножию. Очевидно, я попала на такую же «доску», что и на соседней горе, только меньшего размера и незаметную под свежими слоями снега.

Я в ужасе взметнула глаза на Антона. Он смотрел на меня, сдвинув брови, но ничего не предпринимал. Сама не знаю, чего я от него ждала: чтобы он спустился ко мне, чтобы крикнул слова совета, чтобы позвал кого-нибудь на помощь... но только не того, чтобы он просто наблюдал за происходящим, словно зритель фильма ужасов! Земля под моими ногами неотвратимо уходила вниз; Антон, стоя на отдалении, не шевелился.

Спасла меня та самая отчаянность, которая так раздражала моего тренера, – я, еще не парализованная нарастающим в душе ужасом, попросту сбежала от лавины. Рискуя в одну секунду обрушить ее, пока еще только медленно скользящую, я резко оттолкнулась палками и, не делая зигзагов, с бешеной скоростью помчалась вниз наискосок. Я сумела перелететь на восточный склон, развернуться и встать. Через пару секунд Антон был рядом со мной. Едва оказавшись рядом, мы начали кричать друг на друга: он обвинял меня в полном сумасшествии, я его – в бездействии.

– А что я должен был сделать?! – заорал он, теряя над собой контроль. – Спуститься и рухнуть вниз вместе с тобой?

«Да!!!» – захотелось крикнуть мне в ответ.

– Ты нарушила правила, да еще тайком от меня, поставила меня в идиотское положение и хочешь сказать, что я еще в чем-то виноват?!

Конечно, он был прав, трижды прав: ошибку совершила я и была в достаточной мере за нее наказана пережитым страхом, но мне почему-то казалось, что с тех пор, как мы стали единым целым, один из нас всегда будет разделять судьбу другого, во что бы это ему ни обошлось. У меня осталось впечатление, что я была предана, хотя, возможно, и заслуженно.

С горы я спустилась на подъемнике – у меня дрожали ноги. Антон остался кататься, и я продолжала считать, что он предает меня. Вплоть до вечера того дня я держалась враждебно, а он – крайне сдержанно, лишь по необходимости мы перебрасывались словами. А вечером между нами снова повис неумолимый вопросительный знак.

После первой проведенной вместе ночи мы сдвинули наши кровати вместе и теперь лежали как бы в одной постели, только на разных ее концах. Чтобы отгородиться от Антона, я закрыла глаза, но и с закрытыми глазами чувствовала, что он не спит. Я тоже не могла позволить себе заснуть: наш сегодняшний диалог не был доведен до конца. Минут через двадцать я чуть-чуть приподняла веки – Антон лежал на боку, повернувшись ко мне, и пристально на меня смотрел:

– Я хочу понять, что я тебе сделал.

– Ты бросил меня в такой момент!

– Ты сама меня бросила. Тебе хочется проблем на свою голову. Почему мне должно хотеться того же?

– Но ты же видел, что я попала в беду, почему ты не помог?!

– Да я даже не понял, что что-то было не так, пока ты не подъехала и не рассказала.

Такого поворота я не ожидала. Действительно, вдруг он просто не осознал, что мне угрожает опасность? Я посмотрела на Антона настолько внимательно, насколько могла, – было видно, что он не лжет. Я начала отступать, но отступать с поднятыми знаменами.

– Неужели ты не мог догадаться? Ты ведь уже бывал в горах.

– Но такого со мной ни разу не случалось.

И здесь было нечего возразить. Неужели он прав? Как вести себя дальше, я не знала.

Антон протянул ко мне руку и осторожно, словно улавливая мое настроение, провел ею по щеке, плечу, руке. Затем он придвинулся ближе ко мне и, полюбив меня, заставил при-

близиться к нему вплотную. Как только мы соприкоснулись телами и он со вздохом уткнулся головой в мое плечо, я поняла, что между нами уже нет места обиде.

– Давай прекратим этот детский сад, – прошептал Антон, мягко прихватывая мою кожу губами.

* * *

К слову сказать, тронутая мной лавина так и не сошла: избавленная от лишнего веса снежная доска остановилась на полдороге.

За две недели, проведенные в горах, я узнала об Антоне еще кое-что, что совершенно не была готова узнать: он был тонким человеком.

Меньше всего эта душевная тонкость сочеталась с его внешностью – стопроцентного жизнерадостного сангвиника; еще меньше – с тем образом себя, который он преподносил людям: незамысловатый и веселый знаток восточных единоборств. Этот образ и я всегда принимала за чистую монету, пока в разреженном высокогорном воздухе сквозь него не начало проступать что-то более сокровенное.

За нашими ночными разговорами я узнала о том, что он постоянно носит с собой один страх – быть отчисленным с факультета. Страшила его не армия, а полная неопределенность, которая встала бы вслед за отчислением: он не испытывал склонности ни к одной работе (желание быть астрономом было не серьезнее детсадовской мечты стать пожарным). Конечно, придется зарабатывать на жизнь, но... Антон заранее мучился оттого, что не будет знать, куда ему правильно приложить свои силы. Ему отчаянно не хотелось сидеть сиднем и перекладывать бумажки в офисе, в профессиональный спорт идти было поздно, и, кроме того, Антон считал это поприще чересчур жестоким. Гораздо более жестоким, чем армия, потому что насилие совершаешь не над другими, а над собой. Вопрос же о том, чтобы стать кадровым военным, например десантником, даже не стоял: в слишком большом упадке находились вооруженные силы. Хотя, как признавался сам Антон, ему довольно импонировал статус «пса войны». Однако попробуй стань им в современном-то офисном мире! Однажды, задумчиво перебирая мои волосы, он сказал, что в нашем веке преуспевают те мужчины, в которых хорошо развиты женские черты: усидчивость, кропотливость, терпение, разговорчивость, дипломатичность... Взять любого менеджера – он недалеко уйдет, если будет идти напролом и рубить сплеча.

– А ты хочешь все время рубить сплеча?

– Иногда, знаешь, так тянет поохотиться на мамонта...

Он улыбнулся с какой-то проникновенной грустью. Я взяла его лицо в свои руки и стала бережно, утешающе целовать. Мне было смертельно жалко этого настоящего мужчину, который не видит перед собой никакой дороги.

По-настоящему тонко он вел себя со мной и в самой тонкой области наших отношений. Я почему-то считала, что после первой, «осторожной», ночи, уже не боясь причинить мне боль, Антон будет действовать по-хозяйски – грубовато и властно. Но он каждый раз начинал ласкать меня все так же осторожно, словно неизменно спрашивая моего разрешения; это всегда очень трогало меня. И вопреки расхожему мнению он прежде всего заботился о том, чтобы удовольствие получила я; каждый раз улавливал малейшее мое неудобство и был готов тут же поменять всю свою тактику, чтобы только меня не разочаровать. Короче, он всегда действовал как заботливый отец, помогающий ребенку сделать первые шаги.

Ребенок (в моем лице) избаловался очень скоро. Я начинала любовную игру по-настоящему самозабвенно, не допуская даже мысли о провале и зная, что партнер всегда подчинит свою физиологию моим нуждам. Когда он после последних судорожных движений ронял голову ко мне на плечо, а я, слегка задыхаясь, гладила его взмокшую спину, мне казалось, что

оба мы – птицы, только что вместе взлетевшие на вершину наслаждения. Чуть живые от усилий и сладкой опустошенности, мы опустились в одно гнездо и бережно прикрыли друг друга крыльями. Наверное, где-то рядом стремительно летит время, но минуты проносятся мимо укрытия, не задевая нас. А ночное небо зажигает над нами тысячу белых солнц.

В наше последнее горное утро я постояла перед спуском на вершине Чегета, глядя на сказочно уменьшившуюся в размерах горную долину. Возле высокогорного кафе торчал пестрый лес воткнувшихся в снег лыж и дремала собака, свесившая хвост прямо в пропасть. Загорелые люди в театрально-ярких костюмах пролетали справа и слева от меня так легко, словно в их жизни и не существовало ничего, кроме полета. И мне показалось, что стоящие в ряд горы, вся гордая стать которых была так ярко высвечена солнцем, сейчас сорвут свои белые шали и хором крикнут: «Прощай!» Я бы ответила им тем же словом: «Прощайте!» Я почему-то была уверена, что больше такой красоты в моей жизни уже не будет.

Недалеко от меня притормозил только что сошедший с подъемника Антон. Мы помахали друг другу палками и помчались по склону вниз.

VII

В Москве меня подстерегал приятный сюрприз. Словно запоздалый подарок от Деда Мороза, он был преподнесен тогда, когда я и не думала надеяться на перемены к лучшему. Мы вернулись шестого февраля – в последний день студенческих каникул, – и Антона тут же засосал учебный процесс, временно он перестал даже ходить на пантомиму. Я довольно мучительно пережила первые несколько дней одиночества и от тоски раньше назначенного срока позвонила своему работодателю: вдруг у него найдется для меня какое-нибудь внеплановое дело? Вместо ожидаемого: «Извини, сейчас – ничего» – я вдруг услышала: «Хорошо, что позвонила, ты как раз нужна», – и рысью помчалась по привычному адресу.

Я никогда особенно не вникала в то, чем занимался Виктор – вроде бы поставками спортивного инвентаря, – но, как выяснилось, он уже много месяцев работал над открытием собственного спортклуба. Время для этого было выбрано исключительно удачное: Советский Союз уже несколько лет как перестал существовать, период бешеной инфляции и пустых прилавков завершился, и дикий (а вместе с тем по-дикарски красивый) капитализм медленно, но верно набирал обороты. Новые русские все чаще становились героями анекдотов, а стало быть, занимали полноправные позиции в обществе. В угоду этому социальному классу и работало множество фирм, справедливо рассудивших, что лучше стричь небольшую, но крайне мохнатую группу овец, чем пытаться обкорнать огромное голое стадо. Виктор, мой работодатель, был в этом отношении не оригинален; его своеобразие проявилось лишь в способе стрижки. Вместо того чтобы усадить овец в еще один ресторан или еще один салон красоты, он давал им возможность побегать по травке и поиграть в войнушку. Взрослым дядям предлагалось надеть шлемы с бронежилетами и пострелять друг в друга шарами с краской. Эта забава называлась «пейнтбол» и в то время была еще полной новинкой. А мне предлагалось стать в открывшемся клубе секретарем на телефоне – давать информацию и принимать заказы.

О таком повороте судьбы я, конечно же, и не задумывалась (моей путеводной звездой все еще оставалось поступление на журфак), но свернула на новую дорогу с радостью. Первым, что меня обрадовало, были уговоры Виктора: «Что тут раздумывать? Ты нам подходишь по всем статьям: характер вежливый, язык хорошо подвешен, голос приятный». Во второй раз я обрадовалась, придя оценить обстановку в офис: безупречная белизна стен и строгая серость оргтехники, вокруг – приятные деловитые люди. Все одеты настолько модно и стильно, что я стыдливо поеживалась в своей водолазке и джинсах. «Все путем! – ободрил меня Виктор, хлопая по плечу совершенно по-свойски. – купишь себе костюмчик – вот аванс. Кстати, о зарплате...»

Это и стало третьей причиной. Услышав, сколько мне будут платить, Антон присвистнул и завистливо покачал головой. Зарплата была индексирована в долларах, стало быть, проблемы инфляции меня не касались. Налоги меня тоже не касались – зарплата выплачивалась вчерную. На радостях я позвонила маме, хотя разговаривала с ней совсем недавно, по приезде с турбазы.

– Мам, а я устроилась на работу.

– Доченька, у тебя хватает времени?

Я срочно применила обходной маневр.

– Ну, это работа по специальности: я пишу статьи для одного модного журнала; там очень прилично платят.

Я попросила маму не присылать мне больше денег, потому что теперь я прекрасно обеспечу себя сама. В ответ она какое-то время молчала в трубку. Это было не похоже на маму – обычно она разговаривала быстро, боясь, что я слишком трачусь на междугородные переговоры.

– Доченька, это очень кстати, – услышала я наконец неожиданно грустный голос.

– Что случилось?

– Я ушла с работы.

Я испытала настоящий шок, едва ли не такой же сильный, как потрясение от провала на экзамене. Мама, ушедшая с работы... Это так же не поддавалось пониманию, как мама, ушедшая из жизни.

– Почему???

– Уже месяц, как ушла... Я не хотела тебе говорить, расстраивать...

– Почему???

– Нам совсем ничего не платят. Точнее, платят все те же деньги, но это уже не деньги.

– И что ты сейчас делаешь?

– Пока ничего. Мне предлагали убираться в одном кафе. Может быть, и надо было согласиться...

– Нет! – закричала я так, что вошедший в лифт преподаватель шархнул в другой угол кабины.

В ужасе от услышанного я продолжала кричать и весь последующий разговор, но не смогла высказать ничего конструктивного (лишь пообещала маме высылать половину своей зарплаты, несмотря на ее категорический отказ). Мне трудно передать, насколько я была потрясена. Мама вне созданного ею библиотечного мира была настолько же нереальна, как белый медведь в пустыне. Жизнь разом показалась мне вывернутой наизнанку; я впервые осознала, что понятия, на которых покоится твоё представление о действительности, способны обрушиться в один миг.

Нет, мама ещё вернется в библиотеку, вернется обязательно. Сдаст в аренду часть помещения или придумает что-нибудь ещё коммерческое, но только не будет существовать в отрыве от единственно возможной для неё жизни. Я твердо внушила себе эту мысль и лишь после этого смогла успокоиться, а на следующий день приступить к работе.

На работу нужно было успеть к девяти часам, но первый за последнее время ранний подъем ничуть не напряг меня. Я даже чувствовала себя бодрее, чем когда-либо: вставать и приступать к делам вместе со всем остальным миром было как раз в моем характере. Все те месяцы, что я просыпалась ближе к одиннадцати и за окном меня встречал уже разгоревшийся день, я чувствовала, что что-то теряю. Сегодня же я не потеряла ни минуты: свои законные четверть часа занял быстрый завтрак и не менее законные короткие интервалы пришлось на туалет, причёску, косметику и одевание. Я на одном дыхании долетела до метро, вспоминая, что такое же чувство полета охватывало меня и полгода назад, когда я отправлялась знакомиться с Москвой. Теперь же Москва была почти моей, дело оставалось за малым...

В метро я влезла с трудом: был классический утренний час пик, и толпа рвалась через турникеты не менее яростно, чем вода – в пробитый борт корабля. Однако это не было способно испортить мне настроение – ведь меня поджидал давно обещанный мне успех, и вот я наконец-то иду на встречу с ним.

Дорога заняла едва ли не час. «По московским меркам – это норма», – невозмутимо прокомментировал Виктор, и я перестала сокрушаться своей нерасторопности. «Проходи, садись, вот твоё рабочее место».

Моим рабочим местом были стул и телефон (стол приходилось делить ещё с двумя напарницами). Ещё мне выдали блокнот, где я начертила временную сетку работы клуба и куда записывала клиентов; позже этот блокнот сменил компьютер. Звонки поступали довольно часто – в паузах нам не удавалось даже поболтать, лишь переброситься парой слов. Но я была рада такой нагрузке: чем ещё заниматься на работе, как не работать? Мне было так приятно оказывать людям услуги и чувствовать себя нужной и полезной! (Кстати, это радостное чувство ни разу не посещало меня во время работы в библиотеке и в канцелярском киоске, наверное, потому, что я казалась себе лишь тупым механизмом для перетаскивания книг или для выдачи предметов

за деньги.) Сняв трубку, я вежливо сообщала, объясняла, рассказывала, растолковывала, мне вежливо задавали вопросы и вежливо благодарили. Я была открыта для всего окружающего, и все окружающее было открыто для меня.

«Можно у вас где-нибудь на время игры оставить трехлетнего ребенка? А собаку? Нет, она вообще-то не кусается, разве что не в настроении будет... И ребенок спокойный, только боится чужих людей».

«Там есть где перекусить? Нет, я имею в виду не так перекусить, чтобы просто поесть, а чтобы посидеть по-человечески... Кстати, в нетрезвом состоянии играть не запрещается?»

«Девушка, а играть трудно? А несчастные случаи часто бывают? А с мобильным телефоном играть можно? На всякий случай – чтобы „скорую“ вызвать...»

«Пуленепробиваемый жилет с собой привозить, или у вас прокат? Еще вопрос: я буду с телохранителями, нужно за них платить? Нет, играть они не будут – только бегать за мной...»

«Девушка, а как вас зовут?.. А что же я спрашиваю, если вас там все равно не будет?!»

Я действительно не присутствовала при игре, почти все время проводя в офисе, это был единственный минус новой работы. Правда, находиться в офисе, хорошо выглядеть и сознавать, что притягиваешь мужские взгляды, тоже было несказанно приятно, но... на меня слегка давили четыре стены. Я не покидала эти стены все рабочее время (обеда нам привозили в офис) и была бы счастлива расширить границы своей территории. Кроме того, к концу рабочего дня я ощутимо чувствовала, что засиделась, и сразу после пяти часов вечера сломя голову летела на пантомиму.

Конечно, я опаздывала, но мне удавалось урвать как минимум час занятий; я от всей души напрягала и растягивала мышцы. И каждый раз мне бывало так радостно вновь оказаться в своей старой компании, вновь ощутить себя причастной к студенческой жизни и словно бы за один день побывать в двух разных мирах и двух разных ипостасях.

Однако через неделю работы я начала тревожно думать, что ни до чего хорошего постоянное сидение меня не доведет – на последнем занятии пантомимой мне вдруг стало трудно выполнить совершенно рядовое упражнение. Встав на четвереньки, я должна была затем выпрямить одну ногу и сделать ею мах назад и в сторону. Сразу же вслед за махом я ощутила неприятное, тянущее чувство где-то сбоку внизу живота. Новый мах – и снова мышцы внутри растянулись так болезненно и неохотно, что я была вынуждена позорно сесть на пол и ждать, пока группа не перейдет к следующему движению.

Антон не мог не заметить этого. Когда после занятий мы вместе шли в мою комнату (уже не разделенные прежним смешным вопросительным знаком), он советовал мне использовать все свободное от звонков рабочее время на разминку. Я была благодарна за такой простой, но не пришедший мне в голову совет и теперь старалась как можно чаще вставать из-за стола. С улыбкой, призывая прочих сотрудников не обращать на меня внимание, я выполняла упражнения на голеностоп, повороты корпусом, наклоны. К счастью, мои спортивные наклонности никого не шокировали, наоборот, выгодно выделили меня из числа прочих девушек. Я немедленно получила кличку Джейн Фонда и комментарий Виктора: «Вот какой должна быть настоящая сотрудница спортивного клуба!»

Проблема была только в том, что неприятное тянущее чувство продолжало меня сопровождать – наклоны давались с трудом. А от касания левой рукой носка правой ноги пришлось отказаться сразу – что-то внутри меня сопротивлялось этому упражнению изо всех сил. И я начала подозревать разлад на женской половине своих внутренних органов; должно быть, виноваты были столь полюбившиеся мне Эльбрус и Чегет. Высокогорные холода, пронизывающие ветры... А вечной маминой тревогой было, чтобы я не застудилась «там»... Неужели горы действительно сыграли со мной злую шутку? Косвенное подтверждение этому виделось и в том, что мои месячные были просрочены уже на три недели. (Хотя в принципе такое случалось и раньше от резких перемен в моей жизни, например, по приезде в Москву.)

Тем не менее я начала волноваться. Пока еще волноваться не сильно; это волнение напоминало ранку, которая не беспокоит, пока ее случайно не заденешь. Но в ближайшие выходные, когда мы с Антоном гуляли по Воробьевым горам, она вновь дала о себе знать.

Была идеальная зимняя погода, лучшая, какую только можно себе представить в середине февраля: ясное яркое небо, мороз – не больше минус пяти, пушистый снег и полное безветрие. Горы были усеяны людьми, словно глыбы белого крема на торте, посыпанные шоколадной крошкой. Все катались, кто на чем мог: на лыжах, на санках, на корточках – по раскатанным ледяным дорожкам. Мы с Антоном выбрали самый простой способ: сели паровозиком прямо на лед, подоткнув под себя куртки, и с гиканьем тронулись вниз.

Я визжала, но не от страха, а веселья ради, Антон в ответ вопил «Держись!» и стискивал меня сквозь куртку с непреодолимой силой. С воплями и визгами мы долетели до конца дорожки и ткнулись ногами в снежную выбоину. Здесь нужно было тут же вскочить, чтобы на нас не налетели катящиеся сзади, Антон так и поступил, немедленно выпрыгнув из снежной колеи. А я не могла встать – такое странное ощущение расходилось по пояснице. Настоящей боли не было, но тем не менее каждый нерв был задет и давал о себе знать. Антон буквально выдернул меня из-под ног мчавшихся сзади людей и крепко прижал к себе, не давая упасть.

– Ты чего? – тряс меня за плечи, выкрикивал он. – Что случилось?

Я понятия не имела о том, что случилось. Но, с горечью глядя на заманчиво блестящие повсюду полосы льда, сознавала, что нашему катанию пришел конец.

Однако радость работы в офисе временно заглушала мои тревоги по поводу собственного здоровья. Наверное, впервые в жизни я чувствовала себя настоящим человеком среди настоящих людей – людей, у которых есть в жизни свое место. Пусть мое место было пока еще очень скромным, но оно существовало! Даже Антон, при всем моем уважении к нему, не мог этим похвастаться, он пока что лишь осматривался на местности, выбирая для себя путь.

Особенно счастливо я себя чувствовала тогда, когда наш коллектив собирался вместе для обеда, производя полное впечатление большой трудовой семьи: директор, пара менеджеров, маркетолог, бухгалтер и три секретарши (включая меня). Все мы существовали для того, чтобы давать людям возможность хорошо отдохнуть, все на свой страх и риск раскручивали непривычный для России бизнес, все были довольно молоды и потому чувствовали себя такими brothers in arms – братьями по оружию. (Я недавно узнала это выражение на курсах английского и решила, что оно как нельзя больше подходит для описания отношений на фирме.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.